

З А П И С К И

поэта Леонида Семенова-Тяньшенского

Окончание. Начало - в 17 номере журнала.

Будда, достигнув совершенства, не остался безучастным к миру, а предпочел опять вернуться в мир, движимый состраданием к нему и милосердием, чтобы и других привести к бесстрастию и освобождению от цепи страданий. Так, в жизни он милосердный, эту любовь или сострадание поставил выше Нирваны, и умел жить, как рассказывает о нем предание, лучами такой любви окружать тех, кого хотел спасти, что никто не мог устоять перед ним. Очевидно, это была не та любовь, от которой он освобождал себя в начале пути, только он не нашел ей слово еще. Христианство же отличало— любовь плотскую— т.е. любовь, желавшую себе и другим плотских благ, обыкновенную среди людей— и действительно державшую людей на цепи у мира— от любви духовной. Первую, как и Будда (Будда только о первой и говорит) оно на известных ступенях "освобождения" осудило; ко второй, которой Будда не нашел еще имени,— оно обратило все свои взоры и ее-то в лице Иисуса Христа и провозгласило открыто за начало и конец всего, за высшее и последнее Благо мира, за Альфу и Омегу жизни. И справедливо, ибо и Будда в пути своем к освобождению ни разу не был оставлен Им— т.е. Богом — Богом Христианским, как Его понимает христианство и мы. Разве не эта Любовь, т.е. не Бог, не Господь по-нашему— увела его из царских палат в пустыню. Ведь не себе он пошел искать успокоения и спасения, а повергнутый в ужас страданием других и всего мира. Найти спасение миру— вот какая божественная мысль руководила им и поддерживала его в 40-летних скитаниях по лесам его родины, и она же вывела его из лесов опять к народу и поставила для них светочем на пути. Так христианство,— пройдя путь осмиричий Будды, возглавляет его последним словом Мудрости, словом о любви,— которую знал уже, конечно, и сам Будда. — И поиние истина этого пути есть та: Любовь есть начало и конец пути и без любви не достигнешь ничего. "Если будешь просить Света себе, ради себя, а не ради других, то ты не получишь". Так приняли мы и слышали истину об этом пути от одного из ныне живущих братьев. Эту истину

знал, конечно, и Будда, знает и все истинные подвижники в своих лесах и ею живут. Что же другое может поддерживать их в их страшных потах и трудах — как не эта мысль, что не одни они, а и другие спасутся через их труд, ибо все мы — одно и на всех нас один грех и одна благодать.

Отказ от войны

Еще через год Лев Николаевич лежал в Астанове в 18 верстах от тех сел и деревень, в которых жил эти годы я. До нас дошли неясные слухи о нем. Сначала, что он ушел из дома. Потом, что он в Астанове. В начале ноября 1910 года мы с братом взяли печь у одного раззорившегося крестьянина старика со снохой и многими ребятами. Его сын и единственный работник был выслан административным порядком в Олонецкую губ. по ложному, как кажется, доносу. Взялся класть печь я, а брат, тот брат, который в 1907 г. так же как и я пришел к тому, чтобы оставить мирские дела и тогда же со мной встретился, а теперь гостил у меня, мне помогал. 6-го ноября утром мы приступили к работе. Но не успели разобрать старую печь, как прибежали в избу сказать, что на село приехали какие-то важные господа в мундирах, генералы и исправник — и остановились у волости. А волостное правление на площади против нас... Потом, что они пошли в школу... Еще через несколько минут сообщили уже совсем встревоженно, что идут к нам. Хозяин испуганно с вопросами: не будет ли ему чего, что мы у него работаем? Сняв шапку уже стоял в избе и готовился их встретить. Мы его успокоили и продолжали работу. В избе стояла пыль и копоть от только что разрушенных печки и дымохода и сами были черные в саже. На порог, нагибаясь под низкий косяк двери ступил сначала высокий, еще молодой человек бритый с усами, в губернаторском пальто на красной подкладке, за ним молодой и полный генерал в хандармской форме — исправник уже мне известный и мне ласково улынувшийся, волостной старшина и сзади урядник и народ остались стоять в сенях. Изба наполнилась запахом свежего мыла и духов. И странно нам стало нашей грязи перед их чистой без единого пятнышка одеждой.

Губернатор поздоровался, сказал: здравствуйте и с любопытством окинул нас взорами. Мы отвечали: Мир. Потом обратился к хозяину избы с расспросами: почему я кладу у него печь, спрашивал, что беру за работу, хорошо ли

кладу, что ем, где почую? Крестьянин отвечал, что слышал обо мне, что печи я кладу хорошо, что время позднее, дело я зиме, а печь надо перекладывать, никто не берется, он беден, он и обратился ко мне, что денег я за работу не беру, ем, что подадут и того не ем, потому что мяса не ем, а поживать хожу в другую деревню. Губернатор и мне с президиумным либонитовым предложили несколько таких же вопросов. Я отвечал ему свободно, говорил ты. Вдруг точно охватившись, что он вышел из роли своего сана, он насупился — и сделал молча нетерпеливый знак рукой, чтобы лишние вышли. Волостной старшина хотел, было, задержаться, но исправник удалил и его. В избе остались губернатор, жандармский генерал, исправник, я и брат, со мной работавший. Дверь в избу притворили. Губернатор помолчал немного и вдруг резко спросил:

— Вы тот Леонид Семенов, который в 1905 г. был, кажется, задержан в Курской губ. за участие в крестьянских погромах и поджогах? И потом находился в Старооскольской тюрьме? Я это дело знаю.

— Я отвечал, что ни в каких погромах никогда и нигде не участвовал, а в том, за что по подозрению был посажен в Старооскольскую тюрьму — был оправдан Харьковской Судебной Палатой... так, что это дело можно и не вспоминать.

Губернатор вопросительно посмотрел на жандармского генерала, тот это подтвердил.

Я желая еще больше смягчить его, прибавил, что все-таки сознаюсь, что тогда был на других путях жизни, чем сейчас — и считаю, что заблуждался.

Предложив мне еще несколько вопросов о том, где и как я учился, губернатор обратился и к брату А. с такими же вопросами. Его немного насмешливо спросил:

— Что же и вы были раньше на других путях жизни и занимались политикой?

Тот отвечал, что политикой никогда не занимался.

Исправник поспешил доложить, приложив руку к козырьку, что паспорт А. у него, что наведенные полицией справки о нем подтверждают все, что он говорит.

Говорили мы оба губернатору: ты и называли его: брат.

Удовлетворив свое любопытство, губернатор немного повысил голос и заявил: Вы можете здесь жить и заниматься благотворительностью как хотите. Дело, которое было о вас начато дознанием, теперь прекращено прокурором Окружного Суда, потому что пока ничего преследуемого законом в ваших поступках и словах не найдено. Но если — он еще повысил голос — я услышу, что вы занимаетесь политикой или позволите себе, как я слышал, кощунственно отзываться о святынях православной церкви и оскорблять богоговеинные чувства народа, также принуждать его к своим верованиям, то я этого не допущу и вам будет плохо...

Я отвечая, что он может быть покоем. К своей вере я никого принуждать не могу — и кощунственно отзываться о том, что другим дорого, себе тоже не позволяю, это подтверждало, наверное, и произведенное у нас в селе дознание... Исправник поддакнул при этом и опять одобрительно улыбнулся мне... Стараюсь же я жить так, как думаю, что мне велит Господь в любви со всеми. Потом объяснил, что не признаю обрядности — и скрывать этого тоже не могу. Если меня спрашивает кто об этом, я иногда объясняю — ибо Господь не велит мне таиться и скрывать свою веру — и что есть здесь в волости 4 — 5 из крестьян, которые держатся одной со мной веры — и суть мне близкие мои духовные братья. Если это кому-нибудь не нравится, то я ничего уж сделать не могу, пусть делают с нами, что хотят.

Губернатор поспешил, как мне показалось, успокоить меня.

— Вам в этом никто не препятствует. Свобода вероисповедания и совести дана в русском государстве для всех без исключения. Если есть у вас из народа люди, которые как вы находите и они сами признают, держатся одних с вами религиозных воззрений, то это их дело, и никто им мешать в этом не будет, и вы можете между собой говорить о вашей вере, но кого-либо вовлекать в вашу секту принуждением или пропагандой я это, как представитель власти во вверенной мне губернии не допущу. А потом — он ос-

становился — немного — я хочу сказать вам свое мнение. Народ у нас темный, он как жил, так и останется всегда жить — и поверьте мне ему совершенно безразлично три ли у нас бога или один бог. Ему не до этого. А если я услышу о попытках с вашей стороны поколебать в нем основы государства и православия — на которых зиждется Россия, то вам будет плохо.

Я улыбнулся. Вторично произнесенная угроза меня немного смутила своей непонятностью.

— Что ж, брат, мне плохого сделаешь... Если и сошлешь куда, Бог останется со мной, — а большего ты сделать мне ничего не можешь. Исылать меня не за что.

Моя речь ему не понравилась.

— Брат-то хоть я вам и брат. А будет плохо, я вам говорю, — перебил он.

Я помолчал и, чувствуя, что любовь вовсе нарушилась таким оборотом слов — попытаться смягчить его извинением.

— Прости, брат, если тебя обидел чем. Я привык, считаю за заповедь Божию всех почитать как братьев.

Неправник растерянно улыбался и глядел то на меня, то на него; жандармский генерал, тоже видимо был сочувственен ко мне настроен и улыбался, но губернатор не смягчился.

Повернувшись в пол-оборота уже к двери, он еще остановился и сказал:

— Да! Вы может быть думаете надеть на себя мученический венец, тот терновый венец, который принадлежит одному только Тому, Кто есть наш Спаситель и Господь... Этого венца я вам не дам. А все-таки подумайте.

Потом вышел. Мы успели еще крикнуть ему вдогонку: Мир и благодарение за посещение. Неправник и жандармский генерал важно поклонились.

Но тяжело нам стало, когда он вышел.

Для чего он был? Польбопытствовал посмотреть как мы живем, ибо слух о нас уже дошел и до него? Или хотел нас запугать чем-то?

Вечером, когда собрались все близкие мне в одной избе и обсуждали этот случай, один брат сказал:

- Уронил это он себя, я нахожу, перед тобой, даже вовсе унижил. Запугать нас не запугал, да и сказать ничего не мог, а честь тебе сделал... Теперь куды какой слух пойдет: что сам губернатор был у тебя в хате, когда ты самой, что ни на есть черной работой нашей был занят - тут уж не только по всему уезду, а по всей губернии слух пойдет.

А хозяин избы уж рассказывал любопытным про меня: шапки перед ним не гнул, стоит не дрожит, как мы, а губернатор-то и не знает, что сказать.

Так понял его посещение тот самый темный народ, о котором презрительно говорил губернатор, что он всегда и останется темным...

Но тяжело становилось мне от этой чести. Чувствовалось, что сам губернатор поймет свою ошибку, и уже понял ее, оттого и переменял в разговоре тон, а теперь не простит мне ее долго. Приходилось задумываться- и ждать того, чтобы стать ответчиком не за себя только, но и за этот народ... перед гостями непрошеными, перед людьми, которые своевольно брали на себя задачу оберегать его верность темноте... а нас заранее упрекали в желании восхитить научнический вахец, который сами же на нас готовились возложить. И не человечески становилось больно от всего, что только что произошло. Молодой и недавно назначенный сюда губернатор был весь понятен мне и близок во всем- и в своем любопытстве ко мне и в своем невольном задетом моими ответами самолюбии.

Но не успели они уехать из села, как в избу тайно-венно подзывая меня и хоронясь от людей, вошел наш урядник, только что отставленный от этой должности и очень меня любивший. Он был уже в вольной одежде. Он шепотом сообщил мне, что слышал из разговоров вокруг губернатора, что губернатор приехал сюда из Астапова, что там много народу, приехали разные господа из Петербурга и из Москвы, губернаторы и журналисты и все начальство губернии там, и что Лев Николаевич поправляется и Бог даст совсем будет здоров. Меня он стал просить со слезами на глазах, чтобы я съездил туда и взял бы его с собой- что он

хочет всю жизнь переменить и чувствует, что это должно начаться с его встречи с Толстым, недаром представлялся этому сейчас такой благоприятный случай— предлагал мне деньги на поездку или свою лошадь на выбор. Но как ни близок мне был в эти дни Лев Николаевич, как ни радовался я за него всему, что слышал о нем— и как ни трогал меня брат— бывший урядник— действительно становившийся мне близким и дорогим— я все же ехать ко Льву Николаевичу отказался. Ясно виделось, что Лев Николаевич должен быть один в эти минуты, что никто не должен его тревожить и не смеет нарушать его свободы, хоть даже малейшим неприменным напоминанием о себе, чтобы один на один с Тем, к Которому ушел, он мог решить вопрос о том, как быть ему дальше и что делать сейчас, если Господь действительно дает ему на это силы и телесное здравье. Но уступил я просьбам брата М., чтобы не вовсе его огорчать отказом и поддержать его доброе рвение— и написал письмо к брату Душану Петровичу (Маковецкому), в котором передавал от себя и от братьев мир Льву Николаевичу— и ему и спрашивая его о их дальнейших намерениях. Брат М. с этим письмом в тот же вечер выехал в Астаново, но уж Льва Николаевича там не застал. Приехал туда 7-го утром через час после того как Лев Николаевич закрыл свои смертные очи. Он два раза был у тела Льва Николаевича, виделся с Душаном Петровичем и привез мне от него письмо с извещением о последних земных минутах и словах Льва Николаевича... Так сбылось мое предчувствие, что я его больше живым во плоти не увижу— но тем ярче видели мы его эти дни у себя. Он действительно пришел к нам и не во сне, а наяву. Бодрим и светлым младенцем видели мы его— новорожденным, таким, каким был я сам года 3 тому назад, когда после первой моей встречи с ним шел от него сюда. Сколько трудов, сколько нового, сколько разочарований еще ждало его впереди, о которых он и не слышал еще на том пути, на который ступил теперь своим бегством в осеннее утро из Леной Поляны... Но Господь умилился над своим верным рабом. Войди же в Радость Господина Своего, верный раб— и избавил его Господь от того, в чем находимся мы еще и сейчас.

Так проводили мы Льва Николаевича от сей земли среди верных и близких братьев и сестер его и наших — вместе с нами радовавшихся за него. И опять потекли наши бодрые и светлые дни, еще более бодрые и светлые, чем раньше, каждый день приносявшие что-нибудь новое, ибо Господь не оставлял нас. Но гроза собиралась.

Дело, о ⁶преращении которого прокурором рязанского Окружного Суда мне сообщил губернатор, было следующее. В начале Октября за месяц до этого — к нам на село приезжали исправник и жандармский ротмистр и вызывали в волость человек 30 крестьян, в том числе и меня и допрашивали их о моем образе жизни, о том, что говорю или что делаю, не раздаю ли каких книжек, а меня о моих религиозных, а главное о политических взглядах и убеждениях. Следствие было вызвано доносом одного помещика-соседа, что будто я врываюсь в избы, срываю иконы, кощунствую над православными святынями и развращаю народ. Крестьян допрашивали грозно. На одного кроткого и смиренного брата, когда тот запнулся, жандармский ротмистр кричал, что он света не увидит у него, если он что-нибудь будет утаивать. Меня допрашивали более мягко, но начали тоже с налета. Очередь до меня дошла уже поздно ночью — но я был готов ко всему — с верой в Бога, Которому помолился, хорошо зная, что все доносы на меня ложны, я заранее радовался победе Господней, веря, что допрос не только успокоит начальство относительно меня, но и надолго прекратит все попытки вызвать против нас преследования, какие все время делались то православным духовенством, то в особенности вышеназванным неугомонным помещиком и внесет успокоение в народ, часто науськиваемый ими против меня, а еще больше против тех немногих братьев из крестьян, которые стали мне близкими — и потому свободно и охотно отвечал с Божьей помощью на все предлагаемые вопросы.

Когда спросили о политических моих взглядах, отвечал, что политику считаю делом мирским, т.е. таким, от которого отказался. Но этим не удовлетворились, спрашивали, за кого считаю царя — как смотрю на верховную власть в государстве и многое другое. На большинство вопросов

и должен был отвечать, не знаю, не думал об этом.

Исправник и жандармский ротмистр удивились.

- Не может быть!

- Ну, как же вы, человек все-таки образованный... Неужели о таких существенных вопросах нашей жизни ничего не думали?

- Не думал...

- Так-таки не имеете никаких суждений о них? Приставали они.

Я отвечал, что раньше я много думал об этом и казалось мне, что уже имею об этих вещах готовые суждения, по которым и старался тогда жить и действовать, но потом убедился, что не знаю гораздо более существенное и важное, чем это- не знаю, для чего живу, что такое я, что такое Бог! И увидел, что для решения этих вопросов надо удалиться от суеты, что и старался теперь исполнить- а до тех вопросов еще не добрался.

Исправник довольно взглянул на ротмистра- и кажется окончательно успокоился. Они курили. Мне это было тяжело, но под всей тяжелой обстановкой допроса блеснуло что-то теплое, светлое. Я почувствовал победу Господню- и умилившись в сердце, поблагодарил Его за все.

Жандармский ротмистр предложил еще несколько вопросов. Я отвечал. Но исправник не слушал. Повернувшись ко мне боком, он положил ногу на ногу и пускал дым.

- Я говорил, что все это чепуха одна- начал он уже совсем просто. - Сидит этот старикашка Бабин в своей усадьбе и от нечего делать, от скуки- от хандры выдумывает невесть что, и ведь как надоел всем. Целый год уже бомбардирует меня этими кляузами.

Я заступился за Бабина- и рассказал как и почему он мог быть введен в заблуждение.

- Не говорите. Он совсем невозможный человек...- перебил исправник. Жандармский ротмистр смеялся и прощаясь просил позволения пожать мне руку. Я попросил и с другими братьями, т.е. и с простыми крестьянами обращаться так же, как и со мной. Сказал, что мне больно, когда делают между мной и ими разницу. Они выслушали и уверяли

что со всеми обращаются хорошо, но что я могу держаться каких угодно воззрений, но с простым народом они все же не могут обращаться совсем так, как с образованными— что они его знают... Но допрос все же скоро кончили и вели его после меня мягко. Отпустив нас, они целую ночь еще сидели в занятой ими квартире богатого сельского лавочника и что-то писали— а рано утром прогремели их колокольцы мимо нас, они уехали, не захав даже к тому помещику, который их вызывал и ждал их к себе. А помещик был превосходительный. Обида ему была нанесена. Но после их отъезда я задумался. На допросе меня спрашивали между прочим и о моем отношении к воинской повинности,— но прямо этого вопроса не поставили— а за поздним временем и я не успел его выяснить— теперь же почувствовал, что пришло время— поставить его ребром перед властями— что мужество и искренность требуют от меня, чтобы я еще раз объявил о нем властям. И через несколько дней после допроса я подал местному уряднику подробное письменное заявление о моем отношении к воинской повинности и о том, как избавлялся от нее волею Божьей в 1907 г., когда должен был ее отбывать.— В заключение высказывал готовность покориться всякому решению, какое Господь допустит земные власти принять по отношению меня по поводу этого дела— и уверенность, что Господь не лишит меня в испытаниях, какие я могу ждать по этому делу— любви к тем, кто своим положением в обществе принужден будет эти испытания на меня накладывать.

В 1907 году дело это обстояло так: я тогда же осенью, прибыв в Петербург на зиму после первого моего лета на земле, взял свои бумаги из Университета, чтобы не числиться больше студентом, каким до того времени состоял. Чтобы получить паспорт, предстояло выяснить и вопрос об отбывании мною воинской повинности. По внутреннему это дело меня сильно тревожило тогда: я видел уже для себя полную нравственную невозможность ее отбывать и в то же время совсем еще не находил опоры в себе и ответов на то: как и во имя чего буду отказываться теперь? Еще тяготело

на мне самом обвинение в моем участии в революции, в насилии, ничем не искупленное перед моей совестью— и смутно было кругом в обществе, где не улеглось еще волнение, связанное с Выборгским воззванием, тоже призывавшим население к отказу от воинской повинности. Сумею ли я в таком положении удержаться, чтобы быть чистым, от политики и быть верным одному только Богу любви!.. Вставал передо мной вопрос и самому было страшно его. А вопросы, связанные с отказом от воинской повинности— о том, что такое государство и его требование— пугали еще больше— ибо важнейшее, главное было все еще нерешенным для меня. В такой тревоге— пошел я 15-го Октября в Городскую Думу в Петербурге, где происходил в это время призыв новобранцев— но с твердой решимостью все же заявить о невозможности для себя исполнять эту повинность— чем бы это ни грозило? ибо таиться и уклоняться я не считал делом честным. Но в Городской Думе мне сказали, что тут мне, как имеющему права вольноопределяющегося, делать нечего. Я пошел в канцелярию при Городской Думе, где в 1899 г. перед моим поступлением в Университет давал подписку— совершенно бессознательно— о своем желании быть вольноопределяющимся и где просил тогда отсрочки до окончания моего курса наук в Университете. Здесь, выслушав мое заявление, удивились, посоветовали обратиться к врачам— когда я это отверг— сказали, что другого порядка для подачи моего заявления не видят, как тот, чтобы я подал сначала прошение о зачислении меня в какой-нибудь полк, который сам могу выбрать, и тогда уж в полку могу отказываться. Подавать прошение командиру полка о желании служить у него, а потом у него в полку отказываться я счел неприемлемой для себя ложью— и в смущении вернулся домой— не зная, что делать дальше! Через несколько дней на квартиру, в которой я проживал, пришел дворник и от имени пристава предложил мне поговорить с выяснением моего дела об отбывании мною воинской повинности— потому что без этого они не могут мне выдать паспорта. Я на это отвечал дворнику— что я не знаю, что мне делать с воинской повинностью, что мне она не нужна, я от нее отказываюсь, а пристав, что хочет пусть

то со мной и делает. Дворник удивился, переспросил. Я ему это повторил и просил его это передать пристапу. Он ушел. Я ждал теперь, что полиция что-нибудь предпримет против меня, но прошел месяц, еще месяц. Никто меня не трогал. Через три или четыре месяца я решил уехать из Петербурга без паспорта, предоставив все дело на волю Божью и во всем видя Его руку, пожелавшую на время избавить меня от непосильного еще для меня бремени. С тех пор большую часть времени прожил в Рязанской губ., на родине, где меня с детства знали и потому паспорта и других удостоверений моей личности не спрашивали. Это все я и рассказал кратко в заявлении, поданном теперь уряднику.

После посещения губернатора я не знал: относились ли его слова о прекращении моего дела только к дознанию или к отношению моему к воинской повинности. Только гораздо позднее я узнал, что губернатор услышал о моем отказе отбывать воинскую повинность только в тот самый день, в который был у меня — и притом после того, как посетил меня в избе. Но, посетив меня, губернатор сделал еще одну меловкость для своего положения; которую и я тогда же почувствовал и которую тотчас отметил чуткий ко всему народ. Уехав из села, он посетил окрестных помещиков и их спрашивал обо мне, и о том, как они ко мне относятся, но не посетил того, который на меня доносил ему и даже приготовил ему на этот день обед. Обиженный этим, помещик, действительный статский советник Бабин приписал это неправильно ведущемуся следствию обо мне и влиянию на губернатора — сочувственно настроенных ко мне исправника и жандармских властей. Начались новые доносы на меня и уже на них. В декабре в деревне, которую он считал по старой памяти своей крепостной — он принудил через урядника и старосту путем угроз крестьян подписать собственноручно написанный им приговор — просьбу на имя губернатора, чтобы меня и то семейство в этой деревне, которое меня принимало в свой дом — губернатор выселил из губернии. Приводились те же неслезные клеветы, которые были уже опровергнуты на жандармском дознании.

Приговор-просьба крестьян, конечно, осталась без ответа-но у губернатора уже было другое оружие против меня- и я, оставаясь ко всему, что делалось, безучастным, все-таки по внутреннему человеку уже знал, что грозы не миновать. Готовился давать миру отчет, отчего и почему я ушел от него! Что делаю и что хочу делать помимо и независимо от него? Какое мое отношение к нему? Предстояло и самому себе многое остававшееся в этом неясном жить мне до этого времени- выяснить, ответить себе. Никого мир не оставляет скоро в покое, так бывает со всяким, уходящим от него. И в пустыню и леса идет он за человеком, бегущим от него и требует от него своего.

Мы должники в плену у мира,
Должны мы миру заплатить,
Что каждый взял себе от мира,
Себя чтоб Богу возвратить.

Слагалась песня тогда.

Кого семьей, кого женой и детьми, кого родителями, кого богатством, кого положением в обществе- и другими связями держит он у себя и долго не отпускает, когда и захочет человек бежать из него не отпустит, пока страданием человек в нем не заслужит своей свободы, не выкупит себя из него слезами, которые должен заплатить на этом пути за то, что жил в этом миру, как он, как и все в нем и грешил в нем и прелецался к нему и других вводил в грех. Про себя я хорошо понимал, что не заслужил я еще той свободы, которой пользовался эти годы- что время расплаты мне за нее еще не пришло. Еще более того знал по внутреннему своему человеку, что и не достигну того, чего ищу, если не пострадаю еще в насильственных ценях этого мира, в удалении от тех верных и близких братьев, которые вместе и после сестры Маши стали мне главной опорой в моей жизни. Так дивны и чудны пути Господни! что даже и самые немощные братья мои были мне эти годы опорой- и я без них все же еще не умел прямо и просто обращаться к Господу, не умел, потому что не имел еще достаточного смирения для этого. Сам этого не знал еще

до конца, что это так, но смутно сознавал, что это так.— Для этого и посылаюсь Им Всеблагим новое и необходимое мне на пути испытание, за которое и должен без конца и вечно славить Его Всесвятое и Всесильное Имя... Одно дело жить среди верных и чистых братьев в любви с ними, в постоянных телесных трудах на свободе— и другое дело остаться одному среди чуждого и враждебного мира— со всеми твоими немощами— и тогда проявить твою веру в Него, не потерять внимания устремленного к Нему— содержать себя беспрестанно в том смирении перед Ним и чистоте, в которых одних только человек и может получить от Него— непосредственную помощь, в которой нуждается. Господи, Боже мой! Помогни же мне, доселе немощному и ничтожному, в этом— на этом пути, поистине помоги мне, нуждающемуся в Тебе каждый час и миг.

В январе 1911 г. урядник однажды заехал ко мне за справками, не зная ли я, где мое метрическое свидетельство, когда я взял бумаги из Университета?... Потом через несколько времени привез требование, чтобы я с ним поехал в уездное присутствие по воинским делам— для освидетельствования моей плоти о ее годности и негодности к военной службе. Я был телесно болен и не торопился; на дворе стояла сильная вьюга, и я по нездоровью отказался с ним ехать. Он уехал. Еще через несколько времени, уже в начале февраля— он привез мне запечатанное письмо от А.С. Матилова. Это был исправник. Матиллов просил меня в нем не отказать приехать на приеланной лошади в соседнюю усадьбу князя Д., временно исполнявшего должность уездного предводителя дворянства— "чтобы поговорить со мной об одном очень серьезном для меня деле". Письмо дышало тем сочувствием, которое я заметил в исправнике уже раньше. Я поехал. В усадьбе встретил меня князь и повел в свой кабинет, где был уже исправник. Оба поздоровались со мной приветливо и объяснили в чем дело. Дело было, конечно, мой отказ от военной службы.

— Вы представьте себе, в какое глупое, дурацкое, невыносимое положение вы меня ставите?— объяснял князь.— Я теперь временно исполняющий должность уездного предво-

дителя дворянства и я должен буду председательствовать в этой комиссии— и как представитель комиссии должен буду вас предать суду, который грозит вам каторгой. Ведь это же невероятно. Я буду виновником того, что вас сошлют на каторгу. Я вас с детства знаю. Вы помилуйте. Избавьте меня, пожалуйста, от такой ужасной обязанности. Я — сам солдат. Я свой долг выполняю. Но вы войдите в мое положение. Покажите меня. Неужели вы будете отказываться!

Я говорил, что я переменить ничего не могу, что во всем воля Божия. Его, князя, если он предаст меня суду, за это осуждать не буду, но сам служить ни в коем случае не могу. Одному Богу на земле указывает одно дело, другому— другое. Каждый пусть делает свое.

Он горичился, говорил, что надо найти какой-нибудь выход, что так нельзя; просил, чтобы я согласился по крайней мере раздеться в комиссии, может быть, я окажусь еще негодным к военной службе; спрашивали, не чувствую ли я себя нездоровым. Я говорил, что чувствую себя телесно здоровым и надежды на то, чтобы меня признали к службе негодным, лучше не иметь. Кроме того, объяснял, что откажусь и раздеваться.

Это уже их вовсе озадачило. Исправник волновался еще больше князя. Доказывал, что своим отказом от службы я противоречу той любви "к простому народу", которую сам имею— ибо— если я не буду служить, то вместо меня должен будет пойти кто-нибудь другой, кто бы может быть и иначе и не пошел на службу. Предлагали согласиться быть военным писарем, обещая и это устроить— если я дам согласие не отказываться от комиссии. Я отказывался. Князь опять заговорил о своем ужасном положении и о каторге.

Я, чтобы его успокоить, отвечал, что каторги не боюсь, что в сущности и теперь живу жизнью немного отличающейся от той, которая будет на каторге— к черной работе и к простоте в пище и одежде я уже привык— работал и у него на шахте, где работа очень тяжелая.

Князь на это с живостью возразил... и справедливо:

— Но вы работали у меня добровольно, вас к этому

никто не принуждал и вы во всяком случае могли в любое время уйти с шахты, это не то, что каторга.

- Невозможное положение!- восклицал исправник. Какая-то дикость-нелепость! Каторга! Суд! Для чего? Почему? Человек, который никому никакого зла не делает! Ужели же вы думаете, что армия так нуждается в вас- и оттого, что один человек откажется, что somebody пострадает в ней!?

- Если она не нуждается во мне, то отпустите меня с Богом! И я буду благодарить Бога и вас за это. Отвечал я. Это будет самый простой и Божий выход из всего тяжелого для всех положения.

- Да! Но мы не можем этого сделать!

- Ведь мы тоже давали присягу...

- Ведь закон...

- Ноя лихусь она на всю жизнь, если буду знать, что я виновник того, что вы на каторге. Заговорил опять князь. Вы покажите нас.

- Если не можете меня отпустить и не хотите меня предавать суду, то выходите и отставку!- предложил в свою очередь я.

- Вот! В самом деле, только и остается!- воскликнул исправник не то со смехом, не то внаправду и встал.

Попробовали еще одно средство.

- Уговоры по-видимому не имеют больше смысла.- Вдруг обратился князь к исправнику. Тот остановился- поглядел на него, и потом сообразив что-то, о чем по-видимому, заранее было условлено, отвечал:

- Да, в самом деле- лучше прекратить.

- Тогда что ж? Продолжал князь и поглядел на часы.

- Да можно и сейчас. Пристав недалеко, только дослать... составить протокол и все тут...

- Вы согласны?- обратился ко мне.- Мы вас сейчас арестуем.

Я отвечал, что хотя и не простился с близкими мне, когда ехал сюда, но готов и без этого следовать сейчас же хоть куда, хоть на каторгу, куда поведут...

Они переглянулись друг с другом, помолчали, но потом, видя, что и это не помогает, решили пока отложить. Меня успокоили, что сбега еще нет. Потом вышли из комнаты. В кабинет вошла княгиня, жена князя, женщина лет сорока. Я ее давно знал, знал ее скорбную жизнь еще в бытность совсем юным. Но теперь так утомился длинным и непривычным мне разговором — в непривычной обстановке, в их куреве, оба курили все время, — что сидел совсем подавленный и усталый телом в кресле. Княгиня заметила это — и вместо попыток меня уговаривать, точно смутившись, села и молчала. Потом — стала уверять меня, что не хочет меня ни в чем разубеждать и уговаривать и любезничать, а только хочет узнать от меня, чтобы успокоить свою совесть: Правда ли, что я на все готов и ничем не тревожусь — т.е. совершенно уверен, что так, как поступаю, так и нужно. Я отвечал утвердительно притчей из Евангелия.

— Тогда что ж — тогда остается только молчать и порадоваться за вас, что есть еще люди, которые что-то находят в себе и стоят на этом.

Еще прибавила несколько слов о своих религиозных убеждениях, не таких как мои. — Сказала, что очень не любила Толстого за то, что тот проповедует одно, а делает другое. Но что смерть его и на нее произвела впечатление и несколько примирила ее с ним.

Я отвечал, что обо Льве Николаевиче нельзя судить по одним печатным его произведениям и по тому, что пишут о нем другие — что нужно было видеть его самого.

Но что-то еще мучило ее. Я чувствовал, что она пришла неспроста ко мне — а что-то важное для нее — спросить меня, высказать, что накипело в ней и не в ней одной, а и кругом в таких как она, во всем образованном обществе нашего уезда — хотя и не преследовавшем меня и даже сочувствовавшем мне, но и не понимавшем меня — высказать какое-то обвинение против меня, ушедшего от него. И она, наконец, решилась.

— Простите, Леонид Дмитриевич, — но я вас не понимаю — мы так давно знакомы уже друг с другом — и я вас

давно желала видеть — почему же вы совсем не ходите к нам? Или презираете нас за наш образ жизни? Но ведь не всем же даны силы так переменить жизнь, как это вам удалось. Но если вы нашли истину — так разве должны вы ее скрывать, мне кажется, вы должны ее нести к людям.

Я отвечал, что не вижу в себе сил и призвания что-нибудь проповедовать другим. А желая только сам исполнить в своей жизни те малейшие заповеди, которые несомненно считаю за заповеди Божьи — и больше ничего. Не посещаю же людей предного моего общества только потому, что мне по немощи моей тяжело возвращаться опять в круг той обстановки, тех идей и разговоров, в которых жила раньше. — Они для меня сейчас как старый покинутый мной могильный склеп. И люди образованные должны войти немного в мое положение и не адать, и не требовать от меня того, что может оказаться мне не под силу.

Она немножко, что-то как мне показалось поняла в моих словах, но все-таки не успокаивалась.

— Но неужели же вы действительно нашли близких по душе людей из простого народа. Я сама народ люблю. Понимаю, что он очень простой у нас, добрый верующий, понимаю, что образованному человеку, чтобы освежиться, иногда очень полезно и даже необходимо побыть среди него. Но, чтобы вы, человек образованный — могли найти среди него людей, которые могли бы вас понять, оценить, вполне удовлетворить всем вашим духовным потребностям — это мне представляется невероятным. К грязи, ко всей обстановке их, к этому бы я и сама привыкала, но так, чтобы отказаться от книг, от общения с людьми — как никак более их умственно-развитыми, это я не могу понять...

Сколько раз пришлось мне после слышать этот смешной и обидный вопрос. Но что отвечать на него? Что отвечать тем, кто не знает, не видит и не видел того, что я видел и знаю. Братья мои, единственные, немногие, верные, частые, те, у которых со мною одна душа и одно сердце.

Про нас сказано: где двое или трое соберутся во имя Мое там Я посреди их. И давно уже сказано было: Много ли

из вас мудрых и разумных, знатных и богатых. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Для того, чтобы никакая плоть не хвалялась перед Господом. С вами вместе учился мы, я у вас учился, вы у меня, и вместе мы у Единого Премудрого. Нас ли разлучит совопросничество книжных и умных неверующих этим словам Кго?!

Но княгиня я отвечал, что народ народу рознь — и что я вовсе не считаю весь народ как она добрым, простым и верующим, а наоборот делаю из него очень строгий выбор, так что во всей окрестности нашел может быть 5-6 человек — которых считаю своими близкими, но за то они мне ближе всех кровных моих, всех мудрых и разумных ученых, всех прежних друзей моих — хотя я и с ними связи вовсе не прерываю.

Но еще что-то тревожило ее.

— Но как вы, вот что меня удивляет, — начала она опять, — решаетесь тревожить их простую веру... Ну, пусть вам обряды не нужны, но им они нужны еще, они так привыкли к ним. Как можно лишать их единственного счастья и покоя — подрывать их веру? Не грех ли это с вашей стороны?

Целая буря ответов поднялась у меня на этот вопрос, как и всегда поднимается она, когда слышу его. Но как говорить их тем, кто сам не дошел до них, не додумался еще! И, смирив себя, я отвечал кротко, что ничьей веры подрывать не стремлюсь. Стараюсь только сам жить так, как верю, а с тем, что из этого выйдет и выходит — не забочусь — ибо эту заботу мы должны возлагать на Господа, Который печется сам обо всех и с нас требует только одного, чтобы мы были чисты перед ним.

На ее слова, что про меня ходит много самых противоречивых слухов в уезде, которым она впрочем не верит, но что ее удивляют мои некоторые слова, которые — как она слышала — я сказал однажды священнику, я спросил ее: была ли она на том собрании и слышала ли, что там было. Оказывалось, что нет.

А потом объяснил, что однажды еще в первый год, когда пришел сюда, имел один разговор со священником и тогда объяснил ему, что сам в иконы не верю — но в них не

верит и молодежь в селе— об этом можно судить по тем при-
скорбным явлениям, которые у нас в селе были и которые
всем известны, известны и княгине. Назад к иконам— народ,
сдвинувшийся с этой веры последними событиями в России,
уже не вернешь. Лучше уж говорить им о Боге без них, чем
оставлять его вовсе без всякого знания о Боге, ибо за Бо-
гом с иконами он уже не пойдет. Вот и все слова, по кото-
рым может священник судить о моей вере; все же другие
утверждения и слухи, что я христ, масон, толстовец, сконец
— выдумки досужих людей.

Становилось уже темно. Она прекратила разговор и
пригласила меня в столовую. Там уже князь и исправник на-
пились чаю и дожидались нас. Меня тоже усадили за чай.
Угощали сыром, сливками и бисквитом. Исправник ходил по
комнате, курил и по-прежнему возмущался всем делом.

— И кому оно нужно? И вдруг каторга, суд! Ну, мы все
понимаем: войны все это нехорошее дело. Но пусть японцы,
пусть немцы раньше разоружатся. Его величество государь
Император сам первый об этом заговорил, когда собирал
Гаагскую конференцию. И что же из этого вышло. Одна на-
смешка. Уж если такой могущественный монарх как наш госу-
дарь ничего не мог сделать, то что же вы-то один подела-
ете? Спрашивал уж он меня.

Наконец доложили, что за мной приехали из деревни.
Братья, встревоженные моим долгим отсутствием, поехали
разузнавать обо мне. Я стал прощаться. Княгиня и князь
вышли на двор меня провожать. Князь попросил позволения
поцеловаться со мной, что я и исполнил с радостью.

Таковы были мои первые встречи с образованным об-
ществом через три года после того, как я ушел от него.
Чувствовалась любовь в тех, с которыми сталкивался я —
но и пусто, тяжело как от угара становилось от всего
дня, от всех многословных громких разговоров— в которых
образованные совсем не делают передышки, точно боятся
или считают невежливым молчание, тяжело от того, что не
дают тебе ни минуты сосредоточиться в себе, побыть одно-
му, обратиться к Богу, ибо сами не веруют в это и не
знают этого, от всего неверия их в то, что Бог есть и
что Он сам без них наполняет уже все своим попечением,

и как птица— мать о своих птенцах печется о нас всех, тяжело от всех их хлопотливых и дерзко-своевольных забот о себе, забот обо мне, о других людях, а о том народе, от которого себя отделяют и который глупее, необразованнее их, но и в самых малейших своих детях мудрее их— ибо ум не есть мудрость, тяжело от высокоумия их. Господи, прости и мне, и им грехи наши. Но как опустошенный бурей был я душой в этот день, и молчал среди братьев— точно нечистый, точно прикоснувшийся к нечистому и осквернившийся этим.

Уезд надо мной затягивался туго, и на братьев находила печаль— от меня, но и Господь Всемогуший не оставлял нас все большими и большими милостями в этот последний год среди них.

Князь после разговора со мной написал письмо моим родным о моем деле, должно быть, просил их повлиять на меня.

Я в свою очередь написал отцу и деду обо всем и просил их в это дело не вмешиваться, а предоставить все на волю Божию. Мой отец, со свойственной ему чуткостью, отвечал князю, что считает меня человеком взрослым и потому не может делать попыток препятствовать мне проводить мои взгляды в жизнь— хотя и любит меня и хотя ему больно, что мои убеждения не сходятся с его убеждениями— но пока ничего не видит другого, как предложить князю исполнить то, к чему обязывает его его служба и присяга. Мать сделала попытку письмом, пересланным через князя, на меня повлиять, а князь неофициально через своих служащих предлагая мне удалиться из уезда на время— в надежде, что дело удастся как-нибудь затухнуть. В последнее я не верил, а скрываться хотя бы и на время со своего поста не считал для меня приемлемым, и на все их предложения отвечал отказом.

Недели через две после этого урядник привез повестку, чтобы я явился в комиссию в Данков, и просил меня под ней подписаться, что я являюсь туда сам. Я подписался уклончиво, что я явиться туда не отказываюсь— и объяснил уряднику, почему так делаю, что обещаний никаких вперед

давать не могу, ибо не знаю, что мне в тот день укажет Господь. Но когда этот день приблизился, я почувствовал, что в этот день идти туда не могу. Трудно объяснить неверующим как и в чем черпает дух человека верующего и ищущего Бога живого, удостоверение, что то, что он избирает, указано ему не его волей, но волей Разумной и высшей, чем разум человеческий— но это тот самый Дух, про который в Деяниях апостольских писано: Дух остановил Павла идти в Асию, Дух указал Филиппу подойти к богатой колеснице евнуха царицы Ефионской, когда тот читавший пророка Исайю повстречался ему. Старцы в своих писаниях дают подробные наставления ищущим начинающим и вполне точные о том, что считать нам в себе во всех сложных и трудных случаях жизни, чтобы находить из них выход указаниями Божиими, какие признаки отличают их от движений нашей воли и нашей души, как достигать их, как выпрашивать их у Господа. Вера, что Бог непосредственно должен давать указания нам как жить, как действовать, даже в ежеминутных движениях наших, отвечать осязательно на наши прошения и требования к Нему— есть живая вера в Него— она естественно вытекает из веры в Него как в Живого Бога, в Творца, в Промыслителя, в Отца, печующего о нас, как о детях Своих. Кто говорит, что верит во второе, а не верит или не знает первого, т.е. кто не знает непосредственного Его живого присутствия с нами во всех делах наших и обстоятельствах нашей жизни, тот не знает, что говорит, того вера либо ложь, либо пустой звук. Вопросом может быть для верующих только то, что считать Его указаниями? Этот вопрос занимал и Льва Николаевича при его жизни на земле. Однажды он написал мне в письме, что не видит еще того, чтобы пришло уже время посетить меня и наших братьев у нас (в ответ на их приглашение)— и "несмотря на самое горячее желание мое, не вижу наверное того, что вы называете указанием Божиим". В другое время говорил, что наверное этого-то особого указания и не хватает ему, чтобы решиться наконец уйти из дому. И конечно не рассудком его руководился он, когда, наконец, решился покинуть свой дом. Общий признак того, что решение, ко-

торое ты принимаешь есть решение не твое, а действительно Божие — есть во-первых глубина твоего чувства в этот миг — ибо без глубины смирения, без глубины сознания всей ответственности за твое решение, ответственности перед всем миром — ибо и с каждой песчинкой в нем связан ты и нет даже ни одного твоего вдоха, который бы не отразился как-нибудь и на других — без этого сознания не будет и чиста молитва твоя к Богу. Еще нужна чистота сердца, это есть готовность отдать всю свою жизнь за каждое решение, каково бы оно ни было, хотя бы и самое нежелательное тебе, одинаковая готовность на два самых противоположных борющихся в тебе решения, лишь бы решение было не от тебя — а от Него. Когда так молитвой и внутренним деланием и тишиной и болезнованием сердечным стяжаешь чистоту в себе, заметишь, что одно из решений начинает в тебе вдруг превозладать над другим, или еще третье неожиданно новое является в тебе и поражает тебя своей ясностью и простотой, дает покой и свободу твоему сердцу, отходят от него болезнование и все сомнения далеко прочь от тебя. Тогда с верой последуй за этой звездой. В этот миг не нуждается человек в каких-либо доводах рассудка, что это решение и есть истинное, он верой следует ему, веря, что оно от Того, Кто премудрее и разумнее всех тварей — потому что к Нему обращался и Его просил и верит, что всего, чего ни попросит человек у Него во имя Его все делается ему. Но потом, когда уже исполнишь, что повелено тебе было — и начнешь созерцать повеленное дивной радостью и благодарностью преисполнится сердце твое к Нему, ибо тогда истине без конца будешь удивляться тому, как мудро было то решение, какое Он послал тебе. Грешный я человек и нечистый, и полный всякого срада своих мятущихся пожеланий и мыслей, но и я — ибо и немощное избирает Господь для дел своих — и так верьте, что и каждый из вас может быть орудием Его воли на земле, и я стою крепко в той вере как тогда, так и сейчас, что то решение мое, о котором пишу сейчас, было не мое, а Его указание... о чем и засвидетельствовала тогда письменно перед понятием и урядником, какие-то невидимые силы удер-

живали меня— в те дни и не давали проститься с братьями, когда собирался от них идти в Данков в комиссию, где мог ожидать сразу отдачи меня под суд, грозивший мне каторгой, как говорил мне об этом князь. Только с одной близкой и дорогой сестрой старушкой, ожидавшей земной кончины, простился я окончательно. Когда же пришел день, в который надо было идти, я после этой молитвы и того болезнования сердечного, о котором говорил— вместо того, чтобы идти в Данков— пошел к уряднику— и написал заявление, что сейчас не вижу указания Божия идти к ним, а приду к ним тогда, когда Господь мне это укажет, если же Господь неустет их применить ко мне силу, то это Его воля— и я насильно насильем противиться не буду.

Теперь я знаю, что это было требование Господне— ко мне идти на пути мною избранном верности Ему одному до конца. Он один Господин мой, и должен был я показать людям, что во всех даже и самых малейших делах в распределении земного времени должен Его Волю предпочитать людской, пока я свободен, пока не обращаются еще со мной люди как с рабом, т.е. еще не употребляют против меня силу. В Господь Всемогуший тут же указал мне, какое дело Он предпочитает тем всем мертвым делам и горделивым требованиям в разныи свои комиссии людей, неверующих в Него и привыкших без Него распоряжаться другими людьми и их временем, как своей собственностью. В тот же вечер, когда вернулся я в деревню от урядника, узнал я, что сестра Дуня-бабушка, совсем слегла и просит меня к себе, ждет, что я никуда не уйду, пока не отойдет она к Богу с миром и буду около нее до ее последних минут. Так чудно это и совершилось; за мной приехали меня арестовать через неделю, когда она уже лежала без памяти, со всеми нами и со мной простившись, а когда сажал меня урядник в сани, прибежали из избы сказать, что она отошла совсем! Мир и мир всем!

Конечно, теперь можно сказать: ты бы объяснил в комиссии, что задержался потому, что хотел побыть у смертного одра близкой тебе сестры— но что бы это значило для официальной комиссии. Кто эта сестра тебе? Спросили бы меня. Безграмотная старушка, бывшая крепостная

того помещика, который на меня доносил вам! Вот и все, что бы я мог ответить им на это. И еще: когда отказывался идти в Данков, — я не знал ничего, для чего я это делаю. А только чувствовал невидимую Светлую Силу, которая не пускала меня в этот миг покорствовать людям. Вот и все, что я знал тогда и что знал, то и написал им. Но моя бумажка, пришедшая в комиссию вместо меня, вызвала там целую бурю. Что такое? Да он с ума сошел! Заговорили все, что ж, мы будем ждать что ли, когда его бог ему укажет явиться к нам — или ждать новостей от его бога, когда он прикажет нам собираться на заседание. Ничуть не бывало. Господь только указывал им через меня малейшего, что их дело есть дело насильное — и оставалось им только идти в своем деле насилия до конца — т.е. не ждать, чтобы я шел к ним, а применить ко мне силу. Губернатор так и поступил. Рассердившись докладом об этом, он телеграфировал исправнику: меня немедленно арестовать и содержать в участке до следующего заседания комиссии, т.е. целый месяц. Никакого права по своим законам он на это, конечно, не имел, как и сам потом признавался, но дело было сделано. За мной приехал пристав с урядником и стражниками, и в сумерки, чтобы не очень заметно было народу, вывезли из села в Данков. Пристав, добродушный, простой человек, извинялся и стеснялся и старался так обставить арест, чтобы мне не было "стыдно", говорил, что он этого не любит и т.д. Ночью часа в два привезли меня в Данков в казармы стражников. Исправник не спал и сейчас же прислал мне туда своего служащего с кофейником со спиртовой и двумя французскими булками, чтобы напоить меня, согреть и устроить спать. Заботы меня стесняли, но и трогали. На другое утро опять тот же присланный слуга, брат Матвей, повел меня к нему на квартиру. Исправник, оказывалось, был совсем одинокий, холостой человек, жил в собственном доме, но в скромном флигеле, особнячке на дворе. Совсем просто было все у него, со служащими своими и его знакомыми портными и другими простыми людьми города — пил вместе чай, читал газеты, рассуждал и занимался фотографией, а летом садоводством в своем маленьком садике.

- Наш барин простой, совсем простой, - рассказывал ми по дороге брат Матвей - уж как он эту свою службу не любит, сам этого не любит. Только бы выслужить ему пенсию и уйти. А осени думает уйти уж. Он мухи сам не обидит, такой человек, что и говорить.

Его "барин" меня встретил за чаем и принялся сейчас же рассказывать, что произвела моя бумажка - я вас за сумасшедшего не считаю, но вы сами, батенька, даете повод таким слухам. Ну, что вы сделали? Для чего это все? Теперь по городу слухи, толки пошли, такая кутерьма, просто страсть. Губернатор телеграфирует вас арестовать. А вот я принужден... Да вы пейте чай, с сахаром? Со сливками? Может быть, яйца хотите? Чем мне вас угощать? Может быть голодны?

Матвей тоже угощал, накладывал варенья на блюдечки, настоящий сахар, орехи - масло. Меня стесняли эти угощенья и шумные чувства исправника, но и радовала его простота.

Он по-прежнему, как и у князя Д., удивлялся.

- Е кому это все нужно? Человек никому никакого зла не делает - и вдруг арест, участок, суд, каторга! Да разве нужны вы армии - ну что значит ей один человек! Сам Государь Император вам сочувствует, ведь он с вами заодно, ведь и он того же хочет. Но когда сам государь Император ничего сделать не может, то что же вы-то сделаете? Он собрал Гаагскую конференцию и что же из этого вышло: одна насмешка других держав. Да вы напишите вашему деду письмо. Ваш дед все может. Ну, позвольте я ему напишу. Ему стоит только съездить во дворец - доложить Государю Императору, попросить, вот и все.

Я покачал с сомнением головой и объяснил, что, наоборот, я просил моего деда в мое дело не вмешиваться, а дед мой мне это обещал.

- Что ж делать тем, которых Бог доведет также отказываться от службы как и мне, но у которых нет такого деда, как мой? - спросил я его.

Но он не слушал. Вытащил газеты с портретами моего деда по поводу юбилея 19-го февраля - теперь был март 1911 г. Показывал рескрипт Государя моему деду, которым

жаловался моему деду- высший, "самый высший орден, которого ни у кого как у членов Императорской Фамилии и нет и теперь есть только еще у него одного: орден Андрея Первозванного", рассказывал как сам бывал у моего деда, и как тот его принимал, и что ему говорил. Рассказывал как и меня раз встретил в усадьбе моего деда лет 10 тому назад- когда я был еще совсем юношей- студентом и как он меня с тех пор запомнил (это действительно было)- и как я тогда ему показался задумчивым и углубленным в себя юношей- и с некоторой меланхолией.

Брат Матвей от него не отставал. Принес какой-то старый журнал, где был тоже портрет моего деда, и показывал его мне, но видя, что я чем-то стесняюсь, утешал меня, когда его барин уходил в соседнюю комнату- что наш барин и со всеми такой. Наш барин простой, он и с самыми последним человеком все говорит, говорит, выслушает, усадит- потом мне говорит: Ах, Матвей, уж как это мне тяжело, все аресты, тюрьмы. Слез видеть не могу! Уж не было такого исправника другого и не будет. Это все тут в городе знают. Ведь он кадет. Он все это понимает, он с ними заодно,- шептал он мне,- Вы не бойтесь.

Наконец, наговорившись об этом, как малый нахуливающий и добрый ребенок в исправничьем мундире, Александр Сергеевич немного успокоился, усаживая.

- Ну, а как? Вы скажите мне- Леонид Дмитриевич, ну во что же вы все-таки верите?

Я почувствовал, что вопрос для него большой- самый главный, и как ни удивился его неожиданности, т.е. тому, что в нем сквозило явное спасение за меня, что я вовсе не верую в Бога, отвечал:

- Верую в Бога живого, Единого и Всемогущего, Которому и хочу Единому служить. Кому же еще верить?

Он обрадовался и сейчас же заговорил что-то о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе. Почувствовав, что он в моем ответе- прочел признание и Иисуса Христа за Бога, я немного встревожился и попробовал ему объяснить, что это не совсем так, что Иисуса Христа я за Бога не считаю. Но он не понял- выслушал и как-то не

приняв этого, опять остался при своем, т.е. при том, что это все равно, что я верую все-таки так же как и он, как и все вообще верующие люди, только может быть немножко образованнее его в этом. Вот и все, и успокоился.

Потом еще спросил меня, и я понял как этот вопрос возникнет его в связи с моим предстоящим отказом раздеваться в комиссии— не сконец ли я? Спросил не прямо об этом, а только так:

— Как я отношусь к сконцам? Я сам немного застыдился, что может быть сделал неловкость.

Я сказал, что считаю сконцов за религиозных, искренне верующих, ищущих Бога людей, очень смиренных— хотя и во многом заблуждающихся. Удивляюсь, за что же их преследует правительство.

— Но ведь это же безнравственно, что они делают!— возразил он.— Позвольте! Ведь Бог дал нам заповедь: плодитесь и размножайтесь! Что же тогда будет, если так... Человечества не будет... Я... Я не понимаю... И опять я понял, что он боится, не сконец ли я и в самом деле. Мне стало смешно, но я отвечал, что можно, конечно, разное относиться к тому, что они делают, но упрек им в безнравственности— со стороны по крайней мере православного духовенства лицемерен. Потому что и среди православных были и есть монашествующие, отрекавшиеся от брачной жизни и не заботящиеся о том, что этим прекратится род человеческий. Были, наконец, и среди монашествующих сконцы, т.е. такие, которые не чувствовали в себе сил победить бунтующую плоть одними духовными средствами и потому прибегали к другим средствам— такими и являются сконцы-сектанты, если бы не гнало их правительство, которое гонением своим окружает ореолом то, что в сущности является у них только немощью.

Он ничего не отвечал, но я видел, что вопрос о том, сконец ли я или нет— так и остался для него невыясненным, но объяснить его подробнее уже более я не пожелал. Наконец— беседа — беседами, а пришло время и отправить меня в участок. Он подписал какую-то бумагу и отпустил меня туда с братом Матвеем, говоря, что все-таки лучше будет, если я пойду туда с ним, а не с городовым по улице, на

виду у всех. В участие он тоже обо мне заботился. Была отведена мне маленькая, хотя и грязная, но отдельная комната. Присылал ко мне каждое утро брата Матвея справиться о моем здравьи— с французскими булками и другими угощениями: на свои деньги велел мне покупать молоко и рис, и позволял самому варить ушу на плитке, которая была в моей комнате, потому что я мясной пищи не ем. Все городские и другие его подчиненные посещали меня, беседовали со мной, называли меня просто моим простым именем, как зовут меня в народе: брат Леонид. Не курили при мне. Брат Матвей днем тоже заходил ко мне и с ним мне позволяли гулять немного по городу, на прогулке я заходил иногда и к брату исправнику— на стакан чая, меня звал от его имени сам Матвей. Опять он угощал меня вареньем и постным сахаром, возмущался нечеловеческостью моего дела, говорил о моем деле и с благоговением произносил слова о Его Величестве Государе Императоре, который должен меня понять, который хочет того же, что и я. И много хорошего, дивного слышал я о нем, об этом чистом как младенец, простом человеке в исправничьем мундире от городских и других ему близких подчиненных.

Но страшными, страшными по той неожиданности, с какой оказались такими страшными— показались мне дни в участие. То, что было со мной, бывает всегда и со всеми ищущими Бога. Но что понятно мне теперь, то тогда было еще вовсе неизвестно— и так томил меня, что раз в ужасе я написал даже о своем состоянии далеким по пространству, но близким по духу братьям, которых считал своими старшими братьями. Невыносимая тоска— какая-то пустота; мертвость всего— посещала меня аккуратно каждый день утром, сразу после сна и днем в послеобеденное время. Полуденным бесом зовут старцы это страшное состояние и учат нас как бороться с ним. Но тогда я этого еще вовсе не умел. Ни сестра Маша, ни только что покинувшая нас бабушка, с которой я так бодро простился перед самым арестом, ни другие братья и сестры, которых я внутренне звал к себе на помощь, ни Евангелы, ни песни наших песен иногда, ничто не могло мне помочь и оживить, приходившее уже в отчаяние сердце. Не умел молиться я еще и обращаться к Нему,

точно стоял у запертой двери. Не было еще смирения у меня настоящего, для того, чтобы обратиться к Нему прямо лицом к лицу с п р о сь б о й о с е б е. Вот что было это, то, для чего и требовались мне впереди еще многие и многие страдания. До сих пор явля я среди братьев, среди полей и лесов — обучался телесному труду — весь день проходил занятый этим. Это было время внешнего покаяния и исправления себя. Ради других и по истине, по неизреченной милости Своей — давал мне Господь и Свет Свой в сердце, и разумение и мудрость — открывал и Тайны Свои, и дивные чудеса Своего Всемогущества, но я — я сам был не чистый еще, жестокий и холодный, не размягченный перед Ним в своем сердце и не принесший еще Ему в глубинах своих чистого покаяния. Он и оставлял меня, Он и показывал мне мое ничтожество... чтобы привести меня к этому. Но я еще не понимал всего. С ужасом думал пока только о предстоящем мне впереди заключении в арестантских ротах или на каторге. Как перенесу это? Ужели такой и буду там, как теперь, когда каждый день кажется мне вечностью более страшной, чем это было в Старо-Оскольской и Рыльской тюрьмах, когда был еще вовсе неверующий в Бога. Так было это страшно и стыдно, как покажусь теперь братьям. Машинально отвечал я людям, приходившим и спрашивавшим меня, как и почему отказываюсь я от военной службы, — отвечал как и раньше. Но сердце было холодно ко всему: и к людям, и к предстоящему делу. В таком состоянии повели меня, наконец, в комиссию. Здесь я по-прежнему, как заранее говорил, от всего отказался — отказался раздеваться перед ними, объяснил, что считаю себя призванным Богом служить Ему Одному, Ему же все эти дела, которые они делают, не требуются и потому просил их признать меня негодным для их дел не по плоти, а по духу, и отпустить как такового просто по Божьему на волю.

В комиссии председательствовал исправник. Князь Д. заболел. Исправник очень волновался. Уговаривал, чтобы я только бы разделся бы и больше ничего. Ведь это еще не значит, служить? Просил, повторял то же, что и у князя. Но я упорствовал.

- Может быть вы еще окажетесь негодным к службе? Объясняя он оный. Зачем же мы вас тогда будем предавать суду. Может быть вы чем-нибудь нездоровы.

- Нет, я совсем здоров. Уговоры продолжались долго. Но ставить в соблазн его и комиссию меня признать негодным- мне показалось нечистым- и даже страшным. Я еще твердо стал отказываться. Кроме того, объяснил я, раздеваться перед вами и стоять без нужды перед людьми голым считаю делом бесстыдным.

- Что же вы и в бане отказываетесь раздеваться? спросил кто-то, но без насмешки.

- Здесь не баня- объяснил я.

- Но вы нас-то ставите в какое положение!- восклицал исправник.- Вы посудите сами. Мы должны вас раньше освидетельствовать, годны вы или не годны к службе, иначе мы не можем вас ни отпустить, ни предать суду. Нет, даже никакого выхода из нашего положения.

- Это дело не мое. Я эти законы не писал, и исполнять их не брался. А исполняю то, что велит мне Господь, а вы делайте свое.

- Да вы-то их не писали, это мы знаем, вы-то и нашли себе выход, а мы-то должны же придти тоже к какому-нибудь решению.

- Больничный тип,- фыркнул воинский начальник.

Члены комиссии стали шептаться между собой. Врачи сидели насунувшись, не глядели на меня.

Я предложил раздеть меня насильно.

Исправник еще что-то попробовал сказать, но вдруг поднялся со своего места- и, выйдя вперед комиссии ко мне, заговорил- еще на ходу.

- Ну, вот, ничего тогда не остается. Вот поглядите, к чему приводит нас ваше упрямство. Выходит так, что теперь я- я- сам председатель комиссии, высшее лицо здесь, буду вас раздевать. Вот поглядите. Никто не ожидал этого. Снял с меня осторожно сам поддевку, потом пальто, когда-то подаренное Львом Николаевичем, потом распоясал, снял рубашку носкоиную, обнажил меня до пояса- и подвинул мне стул, чтобы я сел. Я молчал, но не дви-

гался сам.

— Ну, вот глядите, я сам— я исправник,— продолжал он,— и я председатель комиссии вас раздел... Сам председатель комиссии вас раздел. Теперь только разуйтесь и все... и больше ничего мы от вас не требуем.

— Разуй, брат, сам! — прошептал я тихо.

Но он и на этом не остановился, еще стал просить. Но уж комиссия возмущалась. Заговорила.

— Ничего не остается. Что ж уж видно, Александр Сергеевич... раздались голоса. Вернули его на место. Он сел огорченный, взволнованный— и постановили меня предать суду. Я по их просьбе повторил свои объяснения им письменно. А мне прочли постановление комиссии об отдаче меня под суд за упорное уклонение от обязанностей военной службы по религиозным убеждениям, по статье, грозившей 4-6 годами арестантских отделений или каторги с лишением всех особых прав и преимуществ. Статью мне прочли и отвели с городским в участок.

Усталый, измученный, я остался один. Еще пришли ко мне вскоре два брата, приехавших на этот день ко мне. Их пустили повидаться. Пришел брат Матвей и рассказывал, как потрясен всем и огорчен его "барин" и как он жалеет меня. Что он меня еще жалеет, даже кольнуло меня, так полно было мое сердце любви и жалости в это время к нему и, отпустив братьев, я написал ему горячее письмо, в котором писал, как я его понимаю, понимаю его поступок в комиссии, что он один мне был дорог в ней из всех членов ее там, что мучился из-за меня, но что переменить я все-таки ничего не могу, только прошу его верить, что радость за него и за его любовь вполне искупает для меня все неприятности, связанные с этим делом и в неприятностях этих он, конечно, никак не повинен.

Вечером глубокая радость наполнила меня за исполненный в чистоте перед Богом и братьями долг и благодарность за ту помощь Его ко мне, которая проявилась в любви ко мне исправника, но будущее страшило, не хотелось думать об этом— глубокая, скрытая ранняя язва раскрылась мне в эти дни и ждала долгого лечения.

Утром на другой день опять прибежал ко мне брат

Матвей с булками от исправника и рассказал как "барин" тронут моим письмом, даже много раз ему вслух его читал и плакал...

А через несколько часов меня вдруг позвали в полицию наверх к нему. Исправник встретил меня в своем кабинете, протягивая руку.

- Представьте себе, какое ваше дело! Был судебный следователь сейчас. Оказывается нет такого закона, по которому можно вас предать суду. Мы ошиблись. Он всю ночь прерывался в своих законах и не нашел... И теперь отказывается вас принять. Оказывается и губернатор не имел вас право арестовывать и содержать тут до комиссии. Да это я и сам, конечно, знал, хотя и должен был по долгу службы, к сожалению, исполнить! Но какое же теперь положение создается?! Если сама судебная власть находит, что нет закона, по которому можно вас арестовать, то на каком же основании я буду вас тут держать. Вот вопрос. До сих пор я вас держал по распоряжению губернатора. Но распоряжение было арестовать вас до комиссии, - а теперь комиссия была. На каком же основании я вас буду дальше держать, я должен буду отпустить.

Воня секретарь вчерашней комиссии. Он ему объяснил то же. Секретарь согласился с ним. Но мягко заметил:

- Мы должны были - это мое мнение - его насильно вчера освидетельствовать. Мы сделали ошибку.

- Да. Но ведь мы теперь уж не можем отменить свое собственное постановление.

- Не можем. Свое постановление мы должны отправить в губернское присутствие, а оно опротестует.

- А пока-то что? Пока-то ведь я же не могу его держать. На основании чего?

- Не можете.

Так и решили меня отпустить. Комиссия послала свое постановление в губернское присутствие, исправник сделал рапорт обо всем губернатору, а судебный следователь - доклад прокурору.

- Дней через десять будет ответ. Говорил исправник, прощаясь. - Вы ведь никуда не уйдете?

- Никуда не собираюсь. Буду жить там, где жил.

- Тогда вы свободны. - Благодарил за письмо.

Через четверть часа я уже весело шел по еще снежной дороге домой. Такого оборота дела я никак не ожидал, и сердце было исполнено радостью и благодарностью Богу за явленную во всем руку Божию. Но в глубине его томилась глубокая и незаживленная рана, раскрытая сиденьем в участии и будущее тревожило, как никогда еще за все эти 3 года. Не было настоящего покоя теперь даже и среди братьев, видел немощи свои и ужасался.

Но прошли 10 дней, 2 недели, 3 недели, о моем деле ни слуху, ни духу. В конце апреля после овсяного сева я собрался сам в Данков.

Было в это время во внутреннем человеке моем странное двойственное видение грядущего, и что случится со мной в мире наружном я не знал - но чувствовал ясно, что внешнее изъятие меня из среды братьев, насильственное взятие в мир, столкновение с ним, скорби, связанные с этим, мне нужны и потому неизбежны, а с другой стороны и верил и знал, что Господь не попустит мир осудить меня за отказ от военной службы, если я во всем буду следовать Его указаниям и на Него Одного полагаться. Как это произойдет, я не знал, но верил, что будет победа Господня. Пока же, не веря своему временному освобождению и готовясь к новым испытаниям, решил посетить и Петербург, где тоже были у меня близкие люди, чтобы проститься с ними, и на местах, где во плоти жила сестра Маша, еще раз укрепиться общением с ней для предстоящего. Но для того, чтобы ехать в Петербург, надо было мне добыть какой-нибудь паспорт и повидаться с братом Александром Сергеевичем, с которым связал себя обещанием, что никуда из его уезда не уеду. Вот я и собрался к нему. Он и брат Матвей встретили меня теперь как старого знакомого - радостными восклицаниями. Пришел я к нему прямо на квартиру. Сейчас же началось угощение, чай, постные конфеты, варенье, масло, все как и тогда; исправник рассказывал мне про свое дело. Он недавно был сам у губернатора - и губернатор говорил с ним обо мне. Оказывается, и губернатор, и губернская комиссия, и прокурор не решились что-либо предпринять.

Прокурор будто бы объяснил, что по смыслу закона— со мной ничего сейчас и сделать нельзя, что подходящей статьи, меня преследующей, в нем нет, и что следует поэтому меня пока оставить в покое, и дело отправить в Петербург, с просьбой о разъяснении. Возможно, что там согласятся с ним и сочтут, что случай, законом не предвиденный, и что нужно будет поэтому издать новый закон, а тогда новый закон меня уж не коснется, потому что закон обратной силы не имеет, возможно, что министры сделают какое-нибудь административное распоряжение, или сочтут нужным передать дело на разъяснение Сенату, что дело тоже очень затянется, так что можно думать, что меня-то уж все-таки больше тревожить не будут.

Александр Сергеевич был очень доволен таким оборотом дела, опять рассказывал про Государя Императора, про Гагскую конференцию и про то, что никому это глупое дело не нужно. Рассказывал, что будто бы и губернатор ему сказал:

— И представьте себе, дело такое небывалое и запутанное, что и я, который должен быть блюстителем закона в губернии, и всем подавать пример законности, поступил с ним незаконно,— это ему объяснил прокурор,— я и не имел вовсе права его арестовывать... Ну я, конечно, со своей стороны постарался уверить его превосходительство, чтобы он не беспокоился, что с моей стороны было все сделано для того, чтобы этот недолгий арест не был вам тяжелым,— и вы ведь, надеюсь, особенных обид на нас не чувствуете, что с нами познакомились?

Я улыбнулся и сказал: — Мир. Конечно, нет. Пусть и губернатор знает, что я никакой обиды на него не чувствую.

— И я смею вас уверить,— продолжал он,— что его превосходительство губернатор относится к вам в высшей степени сочувственно, он только, конечно, удивляется вам — и сказал мне такую фразу: что ему совершенно непонятно, как я, человек из такой семьи и такого образования могу находить удовлетворение в жизни среди грубого народа,— что для него это непонятно, но во всяком случае вы може-

те быть уверенным, что с его стороны никаких препятствий вам в вашей жизни не будет. Вы произвели на него самое лучшее впечатление, когда он был у вас. О чем он мне тоже сказал.

Не совсем-то я поверил этому, а даже, глядя на восторженность исправника, подумал, как бы он и мне и себе не повредил такими своими чувствами перед губернатором, но ничего не сказал, а только радовался его простоте и любви.

Паспорта оказывается он мне выдать, пока дело не решено, не имел права, но задерживать в уезде тоже не мог. Поэтому решил мне выдать удостоверение в моей личности. Предложил мне, чтобы с меня снял брат Матвей фотографию— и на фотографической карточке он надписет за своей подписью и печатью, что снятое на ней лицо и есть именно я. Я согласился на это с условием, что негатив будет уничтожен. Так и сделали, но для этого пришлось остаться лишний день в Данкове. Я ночевал у него. Вечером к нему пришел какой-то знакомый из города— и долго неслись из его кабинета тоскливые и заунывные звуки граммофона, и так было мне в эти часы грустно и больно за него, за его печальную и унылую одинокую жизнь, в которой так, очевидно, мало ему радости, что и граммофон, и слова его величества, его превосходительство, и курево его еще могут радовать, что даже не раз чувствовал, как слезы навертываются мне на глаза, когда убежал в его садик, стараясь уйти от давящей душу музыки— и молился Богу, чтобы Бог скорее приблизил его к Себе и всех таких, как он, хороших, простых и чистых людей в образованном обществе, не ведающих, что творят.

На другой день утром — опять угощение.

Александр Сергеевич рассказывал мне, что ему надоела служба, что он хочет уйти в отставку, а летом взять отпуск и съездить непременно в Саров,— что он давно уже поклонник и почитатель старца Серафима. Потом рассказывал мне про "графа Толстого".

— Нет, знаете, мне он совсем не понравился. Я могу поклоняться его великим и гениальным произведениям, которые читает весь свет, его романам: "Война и мир" и

"Анна Каренина"— ну, а как человек он не вызывает во мне никакого сочувствия....

Он оказывается знал его лично. — В 1891-92 году граф Толстой ездил по нашему уезду, раздавая помощь голодающим, а он был тогда становым приставом в уезде и по долгу службы сопровождал его.

— Ну вот я и пришел к нему, чтобы познакомиться с ним. И говорю ему, разумеется, что-то вроде того: Ваше сиятельство, я, как давнишний поклонник и почитатель ваших великих произведений, очень рад лично засвидетельствовать перед вами свое удивление вашим великим талантом, и оказать вам содействие по вверенному мне стану— по вашему доброму делу. — А он мне на это ответил, и даже как-то процедил: А я считаю эти свои произведения, которые вы называете великими, дрянью и очень жалею, что они были написаны мною.

— Ну, позвольте, ну можно ли так выразиться про действительно величие и гениальные произведения свои, и потом позвольте, я не поверю, чтобы он это искренне сказал. Мне показалось, что он это только так говорит. Но меня он сразу расхолодил этим. А потом еще говорит мне: Я тогда заблуждался и не знал, в чем мое призвание, а теперь я нашел его и одну только вещь и хочу еще написать. Хочу стереть пыль веков, накопившуюся на вечных истинах Евангелия....

Даже и теперь Александр Сергеевич возмущился весь— повторяя эти, возмущавшие его тогда слова— и с пафосом продолжал:

— Но, позвольте же, ведь уж это переходит всякие границы. Открыто говорить про себя, что хочу стереть пыль, веками накопившуюся на Евангелии. Ну, может быть, действительно там в Евангелии закрались какие-нибудь искажения и ошибки в передаче, это ученые могут разобратить, но чтобы один человек мог про себя так сказать, хочу стереть пыль веков... и еще сказал: Я нахожу, что Евангелие никто не понимает и что все христианство на протяжении всей своей истории учило совсем не тому, чему учил Христос— и что он чувствует призвание свое открыть всем на это глаза.

Он встал и прошелся по комнате.

— А потом?... Ну, графиня Софья Андреевна, графиня его, дочь тут была... Меня пригласили к завтраку— это было тут у одного помещика. И к нему в это время приехал сюда не какой-то его почитатель и поклонник из Англии; и англичанин... И, представьте себе, он выходит к завтраку, здесь и графиня Софья Андреевна, и графиня, его дочь, и он выходит в дезабилье, так и выходит и садится со всеми, и граф ничего не говорит ему. Я возмущился. Помилуйте, ну я понимаю, вы надели на себя мужицкую сериангу, потому что живете среди простого народа, не хотите от него ничем отделяться. Но чтобы садиться при дамах с графиней-девушкой в одном белье, так-таки в одном белье, без ничего, грудь расстегнута, руки голые— это ведь уже просто неприлично! Неужели это толстовство, и он этому учит... А еще англичанин и приехал к нему, кажется из Сибири и в первый раз, ехал в Лондон...

Не зная уж какой англичанин в каком дезабилье садился при Льве Николаевиче и с графинями за завтрак, но не мог я удержать смеха при возмущенном рассказе брата-неправника об этом и не знал, что сказать ему, только грустно мне стало, что неужели и кончина Льва Николаевича не переменяла его отношения к нему и не произвела на него никакого впечатления. Ведь скончался Лев Николаевич в его уезде— и он был там в Астанове все время, но и сейчас же понял, что там был его превосходительство губернатор в это время, там была графиня Софья Андреевна и другие графини и графы и князья. Как же ему за всем этим блеском заметить то, что там происходило в закрытой от него и от всех комнате Льва Николаевича, да и был-то он ведь у своего начальства, конечно, на побегушках...

Он вышел в свою комнату, чтобы одеться и идти на службу. А брат Матвей стал мне опять рассказывать про него как и тогда, что уж такого исправника другого как его барин не будет— но что он хочет уйти в отставку, только не знает дадут ли ему теперь пенсию и хочет обратиться к моему деду с просьбой, чтобы тот о нем похлопотал. В это время пришел кто-то на кухню. Матвей вышел. Какая-то

женщина пришла о чем-то просить исправника.

- Уж эти женщины, не может наш барин видеть их слез... Объяснял он мне вернувшись.

Еще кто-то позвонил на парадной.

Молодой блестящий и франтоватый пристав 1-го стана, только что назначенный, заехал зачем-то к исправнику. Его провели в кабинет. Но Александр Сергееч вышел сначала к женщине. Она оказалась женой какого-то мелкого ворюшки, уже не в первый раз судящегося за кражу.

- И сапожник хороший, и работать может. А вот, все нынче-проныет все, ворует- и в тюрьме все- жену бьет- и ребят трое.- Объяснил мне про него брат Матвей.

Так вот его посадили в тюрьму опять. Жена пришла просить исправника, чтобы он разрешил ей передать в тюрьму мужу сапожный инструмент и работу.

- Хоть работал бы там окаянный, хоть что-нибудь бы заработал на меня- а то ведь мне с голоду от ребят ма- лых и не отойти никуда- заливалась женщина и как мне по- казалось не совсем искренно.

Я их не видел, а только слышал голоса.

- Ну и что же. А я-то что же могу тебе сделать,- растерянно говорил исправник и советовался с Матвеем, чем бы ей помочь. Матвей тоже не знал, что посоветовать своему барину. Сапожник, оказывается, с помощью своих инструментов не раз бегал из тюрьмы, и теперь уж начальник тюрь- мы ни за что уж не пропустит их к нему.

- Да и он ведь такой фанфарон- он и меня ни за что не послушает. Я не могу его просить об этом,- заявил от-кровенно Александр Сергееч.

Женщина была удалена на время на кухню, а к совету был привлечен и становой. И, не видя их, я живо пред-ставлял себе его презрительность и растерянность перед своим начальством, недоумевавших как поступить с такой просительницей- так и казалось, что вот скажет: ее бы в шею.

- Да ведь это же известные мошенники! Я их сам знаю! Что вы, Александр Сергееч, так убиваетесь из-за них. Ну, дайте двугривенный.

Александр Сергееч хотел дать 5 рублей. Матвей пред-

давая дать целковый — в конце концов договорились на 3-х рублях — но чтобы сказать ей, что это дается только ради ее детей, а не ей и не мужу. Но трех рублей не оказалось, и Александр Сергеевич, стеснясь, чтобы не видел становой — и без него — дал полузолотой, сказав, чтобы Матвей скорее ее отпустил. Потом уехал со становым на службу.

Брат Матвей, оставшись со мной, опять рассказывал про своего барина, рассказывал, что Бабин продолжает ему все писать кляузы на него. Раньше Александр Сергеевич боялся его, потому что генерал он все-таки — его превосходительство — а теперь уж и не боится, и не верит ему. Ах, опять, Матвей — это кляузы на брата... и читать не станет...

Через месяц после этого я вернулся из Петербурга, но остановился не в том селе, в котором жил до этого времени, а в другом, верстах в двадцати. Но к рабочей поре собрался во-свои. Мысль о брате Александре Сергеевиче все время не покидала меня и, помня его желание посетить летом моего деда, когда тот приедет в свою усадьбу, и я думал там встретиться тогда с ним — и даже думал подготовить деда к его просьбе, с которой он мог к нему обратиться и помочь ему этим выйти в отставку, в то же время и узнать от него о дальнейшем движении моего дела, о котором по-прежнему все еще не было ни слуху, ни духу. Было уже начало июля, я пошел из своей деревни в усадьбу к деду повидаться с ним и с другими кровными. Но, разговаривая с дедом, так ничего и не сказал ему о брате-исправнике, что хотел — как-то не подошло к этому слово, и сам не зная отчего это, даже пенял на себя, когда вышел от деда, что не исполнил такого маленького дела любви по отношению к любвеобильному Александру Сергеевичу — и еще милее и дороже стал он мне с этой минуты, потому что почувствовал свою вину перед ним — но через два дня узнаю, что Александра Сергеевича вдруг не стало. Что он ночью скоропостижно скончался. Так неожиданно это было, что сначала не верилось. Но слух подтвердился. А еще через несколько дней вдруг приезжает ко мне урядник и сообщает, что завтра повезет меня в Данков, что опять пришла бумага, меня требующая в комиссию. И в это время как-то совсем этого не ждал и так был застигнут этим врасплох,

что совсем растерянный и унылый ехал в Ильин день в бричке с урядником в Данков — и не знал, где в себе и на чем остановиться, чтобы встретить то, что теперь ожидало... и все переменялось теперь. С братьями, которые к этому времени и забыли уж думать о моем деле, так невероятным казалось им, чтобы меня забрали — что и проститься не успел, а Данкове не было дорогого и милого Александра Сергеевича... В участке, куда меня привезли — уже был новый исправник. Городовые еще по старой памяти обращались со мной ласково дружески, но перед новым начальником уже подтягивались... Уныло, мрачно и бессмысленно казалось мне все, что теперь предпринимали против меня. Все потускнело кругом. В таких мрачных мыслях сел я на табурет в участке в помещении городских. Они тут же толпились кругом, и здесь же стоял стол полицейского надзирателя. Он сидел за ним и поднимал какие-то бумаги. Приходили люди по своим делам, грязные стены, грязные бумаги, спертый воздух, курево, ругань, все сжимало сердце до мертвой тупой боли. Захотелось вырваться на волю, сходить на квартиру покойного... Я подошел к столу — проститься — поднял случайно взор на стену передо мной... вот портрет покойного исправника, фотография Матвея... он среди городских, вот на медной шпильке наколоты полицейские новостки и бумажки и вдруг я так и замер от удивления... глазам не поверил — поглядел опять. Что же это такое? Гляжу... нет. Не может быть ошибки — оно, оно полностью тут. Откуда же? Зачем? Самые невероятные, самые невозможные мысли замелькали в голове... Но я уж понял все... Отошел, закачался... весь мир отступил от меня. Не видел больше ни стен, ни городских, ни надзирателя. Сел опять на табурет... Она, она была со мной, сестра мана! Когда я и не думал о ней и забыл ее, и не вспомнил ее... в унылые и мрачные часы. Она пришла сама напомнить мне о себе, сказать мне, что она есть, что она не покидает, не забывает меня. Чтоб я не унывал, не падал духом, а верил бы в нее.

Ее имя, отчество и фамилию прочел я полностью, написанные карандашом на бумажке, приколотой на стенке. Так удивительно это было. ничего кроме ее имени на ней и

не было. Опять и опять подходил я к стене и читал эти три слова. Ужели же это не чудо. Потом я догадался, что это имя ее однофамильца— и даже впоследствии и достоверно узнал, что есть в Данкове девушка с ее именем. Но разве это и не есть чудо, что именно в этот день они были написаны на бумажке и приколоты к стене и что я, подойдя к стене, поднял взор свой на нее— а мог бы и не поднять. Теперь я знал: ее невидимая, вечно бодрствующая надо мной рука с любовью ко мне управляла ничтожными движениями других людей, безразличными для них, чтобы меня укрепить и порадовать в этом. Она же— поднимала мои веки и мои глаза на бумажку... И никто этого не видел, никто не догадывался об этом. Так все полно тайны кругом, все полно присутствия невидимых светлых, оберегающих каждый шаг наш.

С трудом отпросился я у нового исправника и у помощника его на квартиру покойного Александра Сергеевича, а там сидел как зачарованный присутствием невидимых вечных сил Божьих... Сестра Маша была со мной и он был тут же, очищенный смертью. Брат Матвей встретил меня со слезами— рассказывал о нем как убитый. Они съездили весной к Серафиму Саровскому. Его барин был очень доволен, что он это исполнил. Он давно к этому стремился, и брат Матвей был рад за своего барина, что это так хорошо случилось перед самой его смертью. Там они и поговели, и попостылись. Только не понравилось ему там, что обирает народ, все деньги, деньги плати. Ведь это так только народ обманывают. Спрашивал брат Матвей. Потом, вернувшись оттуда, его барин к службе уже не хотел возвращаться. Отпуск взял себе до осени— а осенью хотел и вовсе выйти в отставку— поселиться в своем маленьком имении. Собирался к моему деду. Но тут непогода, немножко ему нездоровилось, все откладывал— только и виду не показывал, чтобы был очень болен. Но вечером перед роковой ночью брат Матвей не знал, чем его угостить, ничего не ел— да еще сказал: Эх, Матвей, если бы ты знал, как мне неможется сегодня, и не глядел бы ни на что. — Раньше ушел спать.

А утром брат Матвей понес ему кофе к постели как

всегда- а он уж и похолодел. Сидит на постели, ноги босые опустил- и одним бочком на подушку навалился. Правая рука сложена крестным знаменем- видно перекреститься хотел. Доктора говорят, грудная жаба у него была. На похоронах весь город был, плакал. Губернатор был. Бабин речь говорил. Такого исправника уж не было и не будет уж, все говорят- кто-кто ему не должен. Он каждому городскому, каждому стражнику- из своего заложенного деньги вперед давал на обмундировку, когда кого принимал на службу, кому 50 рублей., кому 70. Уж так пекся обо всех, лучше отца родного. А себе-то ничего не припас- на похороны 30 рублей после него не нашли тут. Губернатор на свой счет их принял.

- А что правду говорят,- вдруг спрашивает меня Матвей,- что умер человек, так и нет ничего. Я вот боюсь и ничего не знаю. Где же теперь душа Александра Сергеевича?

- Да она тут сейчас с тобой,- говорю я.

- Да вот и я боюсь, а ну как он придет вдруг ночью. Боюсь теперь на дому один оставаться.

- При жизни его не боялся, почему же теперь его боишься,- удивился я.

Матвей ничего не сказал. Молчал и я.

В кабинете Александра Сергеевича на столе- посмотрел его разбросанные бумаги... Вот письмо к нему обо мне- Бабина. Прочел невероятные совсем вещи в нем про себя- и про мой разврат, угрожающий пагубой целым двум приходам. Потом черновик секретного доклада обо мне исправника к губернатору. Исправник берет меня под защиту и доказывает, что верить Бабину нельзя. Потом его просьба к губернатору. За один месяц, оказывается, получил он два замечания от губернатора, что живут у него два еврея, не имеющие права жить за чертой оседлости. Он оправдывается и доказывает, что они имели право жить по неясному смыслу какой-то статьи- и просьба не будут ли эти замечания иметь влияние на его пенсию, которую ждет после многолетней безупречной службы вот теперь осенью. Как это должно быть заботливо! Но и это все оказалось ненужным. Не дождался и пенсии.

Запись Веры Дмитриевны, сестры Леонида

Наталья Яковлевна Грот была убита крестьянами в марте 1918 года вместе с соседними помещиками Шаховскими. Наталья Яковлевна отдала свой дом, усадьбу, землю крестьянам и поселилась в доме своего крестника в деревне. Ее схватили и сказали, что повезут в Данков и с ней двух сестер Шаховских - Наталью и Мари, и брата. Шаховские были бедные помещики, две сестры работали всю жизнь в школе русских вышивок в с. Мураевке. Школа эта славилась не только в России, но и на выставке в Париже. Эти сестры были, по русскому выражению, блаженненькие божьи коровки.

На дороге в Данков люди приказали всем выйти из телеги, их было семь человек, и выстроиться для расстрела. Тетя Таля стала их уговаривать побояться Бога. Среди стрелявших оказался и ее собственный крестник. Но их убили, а трупы выбросили в овраг. Крестьяне после похоронили их на погосте в с. Мураевки.

Запись сестры Рафаила, Веры Дмитриевны Семеновской

Наталья Яковлевна Грот, дочь Я.К. Грот, была очень набожная, была в дружбе с отцом Леонтием Кронштадским и ее мечта была вернуть церкви Леонида во время его отвержения ее; в этом она успеха, уговорила Леонида побывать у отца Анатолия в Оптиной пустыне. Этот старец был удивительный— его письма, моя мать писала ему в минуты своих горестей— были полны удивительной светлой мыслью, очень простой.

Рафаил Дмитриевич жил в бывшем имении деда П.М. в каменном доме, построенном отцом его Дмитриевичем Петровичем. Он работал в земстве, вел хозяйство в Гремячке, мечтал об устройстве лучшей жизни крестьян, проектировал на месте старой мельницы поставить электрическую станцию, осветить и механизировать хозяйство. 19.X вечером, стоя у окна и освещенный ламповым светом, он был смертельно ранен из окна ружейным выстрелом и только чудом остался жив. Пуля прошла через правую скулу и вышла в левый висок недалеко от глаза. Леонид привез врача-австрийца с Муравьевинской шахты. Рафаил скончался в Москве в ноябре 1919 г. от голода.

1917 года 4-го Ноября,
суббота.

Сегодня минул год, как я, грешный раб Божий Леонид с Соней и тетуской Натальей Яковлевной Грот ¹⁾ приехал в Оптину пустынь. Мы приехали туда ночью и вошли в номер, заботливо приготовленный нам о. Мартинианом по телеграмме Натальи Яковлевны. Жутко, чудно и странно мне было после почти 20-летнего ступничества вступать опять в храм Божий, прикладываться к святым иконам, класть на себя крестное знамение, но судьбы Божии непостижимо таинственны и чудо Божие совершилось. Я тот, которому когда-то Лев Николаевич Толстой писал, что он меня полюбил больше, чем хочет и что не перестанет меня любить даже тогда, когда я изменю себе — я изменил Льву Николаевичу, я перестал быть Толстовцем и уверовал во Христа и Его Пречистую мать и со страхом Божиим и благоговением приобщился Святых и страшных Христовых Тайн и почувствовал возрождение жизни. Вот уже год — как я по воле Всемогущего Бога и по молитвам святых старцев Оптины, Ватопеки отца Анатолия и других, а также покойного отца Иоанна Кронштадтского (есть данные мне думать это), — я — православный. И случилось это все превращение накануне страшных потрясений, долженствовавших посетить Россию и всех нас на этот 1917 год. Сегодня проводили в Данков раненого пулей на вылет в голову в своем имении в Гремячке — моего брата Рафу, раненного 2 недели тому назад, а 2 месяца тому назад разбушевавшаяся революционная толпа чуть не растерзала его и меня и только чудо Божие спасло его от неминуемой смерти, а может быть и меня. Сейчас уже больше недели у нас нет известий газетных, мы не знаем, что делается во всем мире — и только слухи, что в Москве страшное кровопролитие. В

1) Наталья Яковлевна Грот, дочь известного лингвиста академика Якова Грота.

эти дни, где упование, где прибежище — радость кроме как святая православная церковь. Чтобы делал я весь этот год, среди всех внутренних браний своих и внешних, ужасающих событий, если бы я не был православный и не знал бы руководства старца О.Анатолія... Так дивен многомилостивый промысел о нас Господа нашего Иисуса Христа... Ему подобает честь и слава со безначальным Его Отцом и Св.Духом и ныне, и присно, и во веки веков аминь.

5-го Ноября 1917 года

Событие, о котором я упомянул с братом моим Рафаилом Дмитриевичем, произошло так: 19 октября утром он приехал за своей семьей из Данкова, чтобы перевести ее в Данков. Утром рано пришел пешком со станции Урусово, и я утром пришел к нему, чтобы с ним повидаться, часов до 2-х я был у него. Он рассказывал новости из Данкова, все больше тревожные, о возрастающих всюду беспорядках и о все большем и большем влиянии на народ большевиков. ¹⁾ Часа в 2 я пошел от него пешком к себе, а он хотел проехать в Надеждино, где находился помощник начальника милиции и конные войска, оттуда Терский (член крестьянского Банка) только что бежал с семьей, а крестьяне рубили лес и собирались, кажется, громить имение. Мне что-то было беспокойно за брата. Я знал настроение крестьян, предупреждение с их стороны, что его убьют, которое слышал, когда сидел с ним вместе в волостном правлении в катажке, в ту памятную ночь 11 сентября, когда его, а за ним и меня чуть не растерзали. Последние 2 недели, до 19-го, крестьяне трех деревень рубили наш лес, вокруг меня. Брат хотел заехать и в лес посмотреть порубку. Я сам ему говорил, что опасности в этом нет. Но когда сам пришел в лес, то затревожился почему-то смутно и безотчетливо и пошел в сторожку к Якову баженцу, мимо которой он должен был проехать в Надеждино, чтобы его еще раз повидать и предупредить, чтобы он был осторожнее. Но я уже опоздал, он проехал. Соня все тревожилась о Гремячке, что я ее туда не пустил. Я читал

1) Рафаил Дмитриевич Семенов-Тыньшанский работал в земстве последнее время, скончался в Москве 20.XI.1919 г.

жизнь Георгия Затворника Задонского. Часов в 9 мы помолились общей молитвой. Я с Соней ушел в горницу и по своему обиходу еще молился перед сном грядущим любимым угодушкам Божиим и поминал перед лицом Божиим всех близких, как услышал лай собаки. Не кончив молитвы, я вышел на крыльцо. Кто-то подъезжал. Подъехал Яша, кучер брата, на дрожках, на белой лошади, из имения, и тревожно сказал на вопросы, что и зачем, что с барыном несчастье. Кто-то стрелял и ранил барина "кажется" в руку. Я сейчас собрался туда с Соней, на своей лошади. Подъезжая к усадьбе, увидел в двух повозках подъезжающих солдат и милицию. Подъехал с ними председатель волостного земства Шмаров. В первой комнате в каменном флигеле солдаты и лужа крови на полу у буфета. Во второй комнате на Зининой постели лежал высоко весь окровавленный Рафа — уже кое-как перевязанный Зиной, и громко кричал: "Господи, помилуй, Господи, помилуй, помогите, родные, помогите, дорогие". И еще с какой-то особенной силой выкрикивал: "Господь мой прибежище и сила. Господь мой сила". Зина стояла у его изголовья. Она наскоро сказала, что ранен он в голову, но что она раны еще не разглядела, думала сначала, что он убит, но вот он через полчаса заговорил. Я спросил, был ли доктор, она сказала: еще нет; да все боится ехать... Я сказал: "я поеду. Надо скорее за доктором". Тут выходя, чтобы ехать за доктором, не помню уж сам ли я сообразил это, или Зина мне сказала: что стреляли Рафу в окно. Одна пуля промахнулась, вторая попала. Я с Шмаровым, на первой попавшейся лошади, это оказался жеребец "Голубь", поехал на шахту за пленным доктором, австрийцем. Когда ехал уже назад с шахты, и доктор со мной на своей тележке, я затревожился, что не вспомнил в первую же минуту о священнике и решил за ним сейчас же захватить. Но посоветовавшись со Шмаровым, обдумав послать за священником тотчас же по приезде с доктором в имение, иначе некому будет присутствовать с доктором при первом осмотре Рафы. В 1 час ночи мы были у Рафы. Доктор велел пулю и тихо, чтобы не слышала Зина, спросил меня по-немецки, был ли священник. Он слышал, что я хотел за ним

захватить. Я сказал, что еще нет. Он сказал, что опоздали, или если хотим приобщить Рафу, то чтобы сейчас же послали за ним, ибо боится, что Рафа уже не проглотит причастия. Зина этого не слышала, но тревожно стала спрашивать, о чем мы говорим. Я не отвечал ей, скорее вышел в соседнюю комнату, где сидели милиция с солдатами и составляли протокол, и просил кого-нибудь скорее ехать за батюшкой; выехали солдаты. Доктор пробовал спросить Рафу, узнает ли он его. Но Рафа кажется не узнавал.

И(.....) сказал доктор и быстро с моей и Зининой помощью поднял Рафу. Вдруг Рафу стало рвать кровью. (.....) сказал доктор. Оказывается упадок пульса и холодные ноги были у него от приближавшейся тошноты. После рвоты пульс стал восстанавливаться, и доктор нас утешил, что "это хорошо", сказал он со своим лютым произношением. Он разрезал ножницами повязку, положенную Зиной, и при свете свечи осмотрел раны. Оказалось их две. Одна в щели у левого уха, другая в виске у правого глаза. Пуля прошла на вылет. Рана тяжелая, но о степени ее опасности еще сказать нельзя. Рафу перевязали, раздели. Дали ему валерьяны с чем-то. Он перестал кричать, успокоился, уснул. Доктор сказал, что теперь надо до утра его оставить. Утром измерить температуру. Если жара не будет, то надежды на жизнь еще не потеряны. Добрый, участливый доктор! Как благодарил я его в сердце, за его спокойное, деловитое и энергично-нежное обхождение с раненым и с нами. Он немец из какого-то австрийского города — уже четвертый год в плену. У него чистые аккуратные комнатки, я был у него в 12 часов ночи, в этот день лечит он пленных австрийцев на шахте. Провожая, мы дали ему 5 рублей. После доктора подъехал батюшка О. Мошин, но один, и первым делом спросил, сам ли больной пожелал причаститься. Я сказал, что он сейчас без сознания. Но я знаю его всегдашнее настроение; Батюшка перебил, что он это знает, но что ему важно может ли он сознательно сейчас исповедываться? Я сказал: вряд ли. "Тогда надо было бы его пособоровать. Соборовать можно и бессознательного", — объяснил батюшка, "только вот жаль, я никого не захватил с собой, приехал один". Я был

этим так опечален, что не знал, что делать. Я наклонился к Рафе и стал громко звать его. Рафа узнал меня. Я спросил его: Рафа, хочешь ли причаститься, вот батюшка тут приехал. "Да зачем, после, я тогда сам позову", и сейчас-же забылся. Батюшка нашел выход и спросил: "Можешь ли ты ручаться, что он до утра проживет". Я сказал, что доктор говорил, что до утра проживет. "Тогда лучше всего я утром еще раз приеду. Если будет в сознании, мы его приобщим, а если уже не придет в сознание, мы его поособуем. Но тогда утром опять пришлите за мной". Мы так и решили. Батюшку проводили и попросили его послать телеграмму родным, которую я тут же составил на имя дяди Андрея Петровича, боясь потревожить неожиданной вестью родителей. Телеграмму следующую: "Рафа ранен выстрелом голову Гремяче. Деля.". Батюшка уехал, а в соседней комнате сидели солдаты и милиция и писали протоколы. Имарев — председатель земской волостной управы, ездивший со мной за доктором, заснул в кресле. Хотя он по слухам, один из крайних революционеров, но кровь, ночь, крик раненого на него очень сильно подействовали и как я ехал с ним за доктором он 2 версты не мог прийти в себя. Потом он немного на мои усилия заговорить с ним — разговорился. Он оказался фабричным, кажется, на каком-то заводе. Сюда недавно приехал и вот попал в председатели управы. Он уже защищал брата от разъяренной толпы 11-го сентября и мне напомнил об этом. В последнее время, когда управа разрешила крестьянам чистить лес, а чистка леса превратилась в хищническую порубку, он ездил по деревням и строго приказывал: только чистить, просил, уговаривал — и грозился вовсе закрыть управу и от всего отказаться, если они его не послушают. И мне он об этом сказал, что с народом ничего не поделаешь, что очень трудно сейчас занимать какое-нибудь ответственное место, и что он хочет уйти из председателей... Спросил, как я ему посоветую? Я сказал — что не советую ему уходить, что какая-нибудь власть да должна быть над народом... Он кажется остался моим ответом доволен. Наконец, уехали и милиция со Имаровым. Они все время кури-

рили тут рядом же с комнатой Рафы, но я уже в это не вмешивался. Кто хотел убить Рафу еще неизвестно. Стрелял кто-то в окно. Рафа стоял в профиль у окна. Занавеска была опущена, но один бок ее немного отворачивался. Зина сидела против него у стола. После первого выстрела у Зины успела мелькнуть мысль, что эти их только пугают. Но от второго выстрела Рафа упал как снам на пол: Зина тотчас выбежала на крыльцо. Но никого уже не видела, хотя была светлая, лунная ночь. Стрелявший наверное скрылся в кустах — которые теперь уже вырублены. Солдат, ездивший с Рафой в Надеждино, показал, что когда они подъезжали к гумну, то у амбаров видели какого-то поджидавшего их человека. Он сказал об этом барину. Барин велел ему ехать скорее; не успел он доехать до конюшни от дома и убрать лошадей, как раздался выстрел. Он побежал к дому, но никого уже не видел.

Только теперь, когда все ушли — мог я немного дать волю своим чувствам. Поцеловал в голову Зину, прижавшуюся ко мне, всю взволнованную, пережившую больше всех весь ужас происшедшего. Подошел и к кроваткам детей. Они не спали и молча все слушали и видели. Подошел и Рафе, поцеловал его в его окровавленную голову — вся жизнь его промелькнула перед моими глазами: как он и я были мальчиками, почти сверстниками, вместе росли, учились, играли... — теперь он спал, то стонал, то вздрагивал, надо было все время быть около него и следить, чтобы он не спазмывал головой и держать ее высоко, и прикладывать к ней лед, как велел доктор. Кроме того все было еще в крови. Вся стена в крови, три одеяла, шуба, подушка — я никогда еще не видел такой раны и такой массы крови, но ни отвращения, ни страха не чувствовал — и за это благодарил Бога. Все премудростью Своей создал Он. — Теперь стал молиться о Рафе, о всех нас. В какое страшное время мы живем. Где прибежище? Где покой? Что бы сделали мы без веры? Господь наше упование, Господь наше прибежище. Господь, помоги нам.

13 ноября 1917 года.

Едва успел я с великими затруднениями Рафу и Зину с детьми перевезти в Данков, как узнал вчера о кончине папы. Папы не стало 1-го ноября, но целых 12 дней мы ничего не знали и до сих пор я не имею никаких прямых сообщений об этом из Петрограда. Но тете, Наталье Яковлевне, написал ее брат дядя Костя и ее сестра тетя Аня. Папа скончался от удущья в асфальте. 1-го ноября, уже 5-го его похоронили. Когда Аречка приехала сюда, 26 октября, она рассказывала про папу, что папа сначала спокойно и вроде равнодушно принял известие о Рафе, но потом вдруг у него сделался припадок, хотя легкий. Припадки грудной жабы он нахил уже лет 7 тому назад, при постройке нового, каменного дома в Петрограде, чем он очень увлекался. Тогда доктора предписали ему полный покой, запретили куренье и многое другое. Что он не все, конечно, исполнял — но причины, конечно, не эти — причина — воля Божия, святая и всевышняя взять к Себе его душу. Аречка рассказывала, да и по письмам его это видно, и вообще я это знаю, он очень волновался событиями и судьбой России. В последнее время углубился в записывание своих мыслей по поводу происходящих событий, о чем сообщал в письмах Рафе. В последних письмах его, особенно ко мне, звучала и встала замечательная и трогательная религиозная струна — о преданности воле Божией, о промысле Его в делах исторических... Замечательны его смиренные замечания о себе — как о самом обыкновенном мирянине, могущим похвалиться разве только тем, что ничего особенного от общепринятой морали он не делал... Какая скромная и смиренная оценка. Дорогой папа... меня радует, что в последнее время между мной и им было полное примирение. Он благославлял меня на мой новый путь. Он даже слишком переоценивал его и меня в нем. Он оставил нас в самые тяжелые дни — какие когда-либо переживала Россия и в ней наша, вышедшая от чресел ее, семья. 1-го ноября разгар большевистского восстания в Москве и по всей России... Здесь раненый Рафа, которого мы бережем от новых покушений и как отсюда увозить. Аня здесь. Сношений с Петроградом

нет — нет и писем, ни газет. Маша, третий сын папы — больной и контуженный на войне (больной, убитый от сиденья в окопах) в далеком городе, в Вологодской губернии. Коля — неизвестно где в Англии? Послан туда, как морской офицер и с мая нет от него ни слуху, ни духу. (За "Варягом" в Японию) Шура тоже больной от похода, в лазарете в Царском Селе. Около папы была одна Верочка, мама и старая наша верная няня Аннушка — не знаю приобщили ли папу. Это меня очень волнует — но Царство Небесное ему дорого, ели тихо и мирно, скромный труженик и вроткий, прекроткий человек. Он скончался 63 лет.

Вместе с этим известием пришли, наконец из Москвы и Петрограда первые газеты после 2-х недельного перерыва. Везде хаос, массовые убийства, братоубийственная война, развал единой России на многие отдельные республики, отсутствие всякой власти, анархия, надвигающийся голод. Барварский разгром Москвы, ее сжиганье, ее Кремля, ее Успенского собора. На этом фоне — один только луч, одна отрадная точка — Всероссийский православный собор... В трагических обстоятельствах, в дни самого страшного, кошмарного своей бессмысленности братоубийства в Москве — он единогласно — (необычайное единодушие) — постановляет возглавить Святую Православную Российскую церковь — патриаршеством и немедленно приступить к избранию патриарха. Богу угодно было, чтобы из трех избранных собором кандидатом, хребный пал на митрополита Московского Тихона. Он теперь патриарх. Да благословит его Господь, да поможет Господь святой Церкви стать опорой для мучимой, страдающей, смятенной России, как это бывало уже не раз в ее истории, как это было в смутное время, Ему же слава, честь и поклонение подобает за все, во веки веков, аминь.

14-го ноября

Господи, прости меня. Грешен я, так грешен, что и сказать не могу. Немоощен. Раздражительность свою не умею покорить. Чего не хочу, то творю. Всегда Тебя прогневаю и Пречистую Твою Матерь — алое творя, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!

Сегодня Пав. Мих. в ответ на мое извещение о кончине папы написал: "За дорогого покойника радуюсь." Пав. Мих. сам старик, ему 70 лет, живет с глухонемой своей женой. Все имение у него разобрали и отобрали крестьяне. Дом сожгли. Сожгли его оранжерейку— его постоянную безобидную страсть сажать и выращивать различные цветочки.— Он вряд ли верующий, т.е. по православному, и к нашему общему горю, давно не был у исповеди— он пишет: "За дорогого покойника радуюсь..." Не знаю, как он представляет себе участь "покойников", но его слова все-таки знаменательны. До нашего времени люди его образа мыслей и стремлений жизнь на земле любили, ценили... но мы живем в такое время, что и неверующим по-христиански, остается только завидовать покойникам, не скоро просвет: слухи кругом все темные, что надо резать господ и буржуев— что вот, вот этот час придет, но Господь милостив... Господи, упаси нас.

16-го ноября 1917 года.

Подробности о кончине папы из письма Верочки; папа в день 31 октября, накануне своей кончины, окончил свою работу— очерк о революции, о которой сообщал нам в письмах, и которой, по словам Аречки, очень увлекался. После этого, прибрал свой кабинет, а на столе все прибрал очень аккуратно. Это очень замечательно, никогда он этого не делал. Вечером очень желал видеть кого-нибудь из своих братьев. Точно предчувствуя свою кончину, но никому этого не говорил. Вероятно это и так. Вероятно и просто физически это чувствовал, что возможен с ним припадок, про исход которого рассуждал, что он может оказаться смертельным, с чем и хотел может быть подготовить своих близких, боясь в то же время их огорчить своим предчувствием. Вечером были гости Ольхины, из братьев его никто не мог прийти. В 8,5 час. вечера с ним вдруг сделался припадок. Послали за доктором. Вспрыснули камфору, но уже ничего не помогало— и в 2 ч. 20 мин. ночи он тихо скончался. Папа всю жизнь был кроткий, тихий, мягкий, уступчивый человек.

Всегда чистой души, стремящийся, по мере сил своих и своего разума принести пользу родине.

21-го ноября, 1 час ночи.

Только что вернулся на лошади из Данкова. Ездил по-видать Рафу, Арю, Эмиу; с ними помолился о папе и говел.

Говел в Данковском монастыре и там же остановился у отца Архимандрита Василия. Монастырь бедный, каменный. Основатель его схимник Роман по фамилии Теленов. От Иоанна Грозного пострадал и удалился в леса, где выкопал пещеру и жил трудом и молитвами. Его мощи хранятся в монастыре. В монастыре все бедно, монахов мало, хор бедный, об этом очень жалеет от. Архимандрит— но и в нем— огонек веры, истинной христианской любви, простоты и смирения. Исповедывался у отца казначея Михаила, у него был в келли. Помогли им всем, Господи...

Рафа на вид очень плох. Он только от меня узнал о смерти папы. Мы все очень хотим жить на земле, но ведь жизнь есть и там, есть, есть.

Господи, помоги нам стремиться к неземному. Сегодня праздник Введения во храм Богородицы.

28-го ноября 1917 года.

Я, грешный раб Божий, часто бываю раздавлен грехом, как червь, раздавленный ночью на дороге. Какая сила в грехе. Какими хитрыми и незаметными путями подходит он к сердцу— и всегда под благовидными предложениями. Какой ирак! Какой ужас.

Слава силе Твоей, Господи, помоги мне. Подними падшего, восставь раздавленного.

Я неудовлетворен своей жизнью в участке. Когда был телетовцем, я уходил из мира образованного, уходил от того, чем заняты люди образованные, уходил от постоянного занятия своего ума мышлением, мечтательностью, чтением, уходил потому, что эта самая привычка их постоянно думать, мыслить, рассуждать, внутренне спорить с другими, создавать свои теории мечты— были для меня как цепи, были как

цепи и тяжкие сети для какого-то внутреннего, более глубокого человека, моего "я" во мне, которое я ощущаю в себе смутно. Это "я" билось, неудовлетворенное всей той жизнью, которую открывало ему светское образование нашего общества; ни наука, ни искусство, ни общественная деятельность, направленная по теориям этого общества на пользу ближнего и всего человечества, не удовлетворяла какой-то внутренней тоскующей глубины во мне, глубиной, тоскующей о чем-то высшем, мистичнейшем, святейшем, но я бежал от всего, что предлагало мне светское образование, к Толстому. (Как тогда думали другие) к обращению в простой народ. Это было сознательное действие. Я искал уединения, обращения своего многосложного "я" — в простых телесных трудах, в простой трудовой жизни среди простого трудового народа. Искал времени уединиться, углубиться в себя, найти в себе свое внутреннейшее "я" — и то, чего оно ищет, чем оно может удовлетвориться, то, в чем его жизнь... И Господь был милостив ко мне. Это долгое искание мое по трудовым и тернистым путям Он увенчал Своим благоволением, незаметно привлекая к Себе и открывением Своих тайн о человеке, о Себе и о всем мире. Теперь это не просто для меня. Это внутреннее "я", которого я искал в себе и бытие которого чувствовал в себе, как бытие какого-то заключенного во мне, как в темнице, есть то, что святые отцы православной церкви, наученные Святым Духом Божиим, называют сердцем человеческим, или внутренним человеком, или духом человека, когда говорят о трех составах человеческого существа — теле, душе и духе. То, чем я не удовлетворялся, это была, во первых, телесная, материальная жизнь, с детства внушавшая мне некоторую долю отращения как тупая и душевная (область которой науки, искусства, общественность), которую одну только и знают обыкновенные образованные люди, как высшую — я же искал религиозной жизни, жизни сердца, жизни духа и благодатью Божией, ее нашел... научился различать ее, по книгам свято-отеческим научился понимать ее запросы, ее борьбу, ее цели и мало-по-малу пришел к тому, что удовлетворение этого сердца, духа мы можем найти только в православной Церкви,

только в вере во все то, чему она учит и в послушании тому, что она велит— наше спасение, спасение нашего духа, сердца, нашей бессмертной души— которая она здесь уже может предвкушать, по милости Божией в таинствах, какие Господь Иисус Христос, пришедший в мир грешный спасти, со- благоволит дать Своей Св.Церкви. Ее же врата адавы не одо- левут, Слава силе Твоей, Господи.

Неудовлетворенность же моей жизнью на участке, т.е. трудовой, простой жизнью, неудовлетворенность какая от- крывается во мне теперь, происходит от того, что сняв с себя бремя жизни образованного общества, я надел на себя бремя жизни простого, трудового народа— но и то, и дру- гое бремя для жизни и духа и сердца.

Сердце, найдя свою, себе (.....) жизнь и источник для нее, ищет ее, хочет ей одной сколько возможно и ей од- ной служить и жить не обременяясь ничем другим, выход для этого— монастырь. Но Господь судит иное. Вот пред чем я теперь стою... Скоро должно это решиться... но возвра- та к прежнему уже нет.

2-го декабря 1917 г.

Как дивны, промыслительны, незаметно незны пути спа- сения, какими ведет нас Господь. Я замечал это даже на книгах, какие попадаются мне под руку— для чтения, на всем протяжении своей жизни, какие книги я теперь вспоми- наю, которые оказали свое влияние на образование моего внутреннего сердца и именно сердца. Это житие преподобно- го отца нашего Сергия чудотворца Радонежского... В самое, можно сказать, безобразное время моей молодости, когда стоял я накануне тягчайших²⁹ надежд, вдруг именно эта кни- га зародилась во мне огонек, который,— слава силе Твоей, Господи,— не угас даже среди всех моих бурь и жив сей- час. Я был студентом, наверно, с каким-то мальчишеским легкомыслием, занальчивостью, нахальством, поехал прока- титься "посмотреть" русскую веру с высоты моего образо- ванного философствования "сделать свое наблюдение над православным народом", чтобы иметь именно "свои" наблюде- ния, свои мысли и при случае, или в будущем потешеславить- ся... В 1900 году Троице-Сергиева Лавра и Киево-Печерские

святых не оставили на мне никаких впечатлений... был такой намер, что даже стыдился креститься... Не отстоял там даже ни одной службы и что делал, теперь не помню. Только захватил на память книжку: житие Св.Сергия Радонежского и с этой книжкой поехал в Киев посмотреть другие русские святые. Там так же бесцельно, глупо бродил по церквам и храмам, восторгаясь, правда, но только с художественной стороны Киевским Владимирским собором. Тайная же жизнь сердца была не в этом... В Киеве напала на меня впервые за всю жизнь (мне было 20 лет и я был девственником) блудная страсть со всей своей неумолимой, ужасающей силой... Это было ново для меня... Весна, Днепр, студенты, товарищи, кокетки— все распалило меня до еще неслышанного каления— и я не знал, куда деваться ночью... но падений боялся. Вот раз ночью в своем номере, в гостинице, я пришел вдруг в ужас от возможного, блудного падения... я метался... Под руку попала книжка, взятая из Троицко-Сергиевской Лавры— житие преподобного Сергия, и я стал читать и вот точно какой-то умирный, теплый луч скользнул по моему сердцу. Его воздержание, Его смирение, Его подвиги, Его молитвы, Его видение Богородицы, Его постоянная жизнь вдруг точно раскрыла какую-то иную новую жизнь... Сердце замирало от сладости видения восторга, умиления, покаяния и на всю жизнь эта ночь врезалась в мое сердце, стала как бы манить к себе, призывать своим тихим, сладостным светом.

Другой раз, когда оставил я образованный мир и поселился в деревне. Жизнь и наставления преподобного отца нашего дорогого батюшки Серафима.

Потом поезде Исаака Сириянина. Добротолюбие. В прошлом году— Святитель Феодосий Вышенский, Иоанн Златоуст и теперь "моя жизнь во Христе" отца Иоанна Вронштадтского вот— этапы моего истинного образования. А какие горы хлама, греха и путаницы отпадают все другие книги, которые я прочел.

Я не говорю, конечно, об Евангелии, Библии и Псалтире, но вот была одно время любимой моей книгой еще

жизнь Франциска Ассизского и книга Александра Дроздовича... "Из книги неведомой". Они увлекали, поднимали, будоражили... но после Добротолюбия, после Серафима их не хочется читать... Во всем волнении и падении, какое они производили, было что-то болезненное, непонятное желание своих подвигов, а под этим незаметно скрыто желание славы своих подвигов. И этому я долгое время следовала, этому служила как надо быть мудрым, осторожным, как знать сети врага... Одна только сила Господня способна их различить, разорвать, победить.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

3-го декабря 1917 г.

Что значит веровать в Бога? Бог, Бог... истина, высший разум - сама жизнь - Первопричина - и вина всего сущего, Тайна - слышим мы в разных религиях, учениях и философских системах - но как сухи, пусты, бессодержательны у них все эти слова и определения... в одной только христианской религии, в Богооткровенном учении ее о Боге Творце, приоткрывается для нас как бы малость завесы о самой внутренней тайне, самой жизни Божества в нем самом. Господи! Какая неизглаголанная премудрость Бога Отца - Который предает Сына Своего Единородного за грехи всего мира и Духом Святым управляет вселенной - все Три они Одно... я не могу постичь, схватить это своим ограниченным и узким холодным сердцем, но я чувствую здесь непостижимую жизнь Божества, как бы вечную драму Его, Его вечное действие, которая и есть сама любовь к нам, твари Его, до самопожертвования, до самозабвения... Одно только это учение и дает хоть намек на самое существо Его недоступной по глубине, высоте и таинственности жизни... Его жизнь есть вечное движение и предвечное (.....) или действие любви... и только учение о Творце о Боге Отце - о Боге Сыне Искупителе - о Боге Духе Святом и дает нашим немощным умам - хотя бы и малое представление об этой любви как сущности Бога... Могли бы вместить, да вместят... не все вмещают слова Его. - (.....).

4-го декабря 1917 г.

День св. Варвары Великомученицы. Большевики захватили всюду власть, но для меня их власть как сон, что-то не верится ее твердости и продолжительности. Вот, вот все рухнет у них и перейдет их сила, как сновидение.

6-го декабря 1917 г.

День Святого Николая Чудотворца. Все собиравсь ехать в Рязань к преосвященному Владыке, чтобы он решил мою судьбу, и батюшка Анатолий велит в письмах... я все не могу собраться, сейчас заболел. Престыл. Вчера совсем плохо себя чувствовал, весь день лежал. Сегодня немного лучше.

7-го декабря 1917 г.

Благодарю Тебя, Господи, за Твое великое промышление обо мне. Эта болезнь мне на пользу. Даже в первый раз в жизни ясно, ошутительно почувствовал как болезнь действительно может быть на пользу человеку. За время болезни мог, удалившись от всех мирских дел, лучше сосредоточиться в себе, даже помолиться - и тем приготовиться к предстоящей поездке в Рязань и беседе с Владыкой... Много читаю эти дни "Путь на спасение епископа Петра", подаренное мне батюшкой о. Анатолием, стихотворения Св. Григория Богослова (необыкновенно живое впечатление от них) - о. Кронштадтского и еще кое-что.

Грешный, немощный, пакостный я человек, но нет уныния во мне, нет отчаяния - все надеюсь, не падаю духом, стремлюсь. Знаю - вся жизнь наша - крест и впереди крест - может быть тягчайший, но на это иду, уповаю на милосердие Божие, уповаю на заступничество Пресвятой Владычицы нашей Приснодевы Марии, Святого Великого Святителя нашего и чудотворца Николая, Св. Питирима Тамбовского, Его милостивое снисхождение ко мне ощущаю часто. Верю в помощь Святых ангелов, хранителей наших, Серафимов, Херувимов, Престолов, Начальств и Властей, всех сил небесных, предстоящих Престолу Божию и с радостью взирающих на всякое стремление земнородного к небесному, и Архистратига их Михаила -

— верю в ободряющую силу молитв всех угодивших Богу великих святителей Церкви, Патриархов, архиепископов и епископов, предстоящих ныне Престолу Божию, не оставляющих Церкви и всех в ней, и обо мне грешном доходит их молитва— до Духа Божия, Св.Отца Великого Боголюбца Иоанна Златоуста, Василия Великого Блаженного, Григория Богослова.— Сколь бедствена была их жизнь на земле, разве не знают они и наши скорби и нужды... Верю в предстательство российских, великих чудотворцев и святителей Московского Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена — белгородского, (.....) великих, всегда внимательных ко мне Дмитрия Ростовского и Тихона Задонского, митрофанья Воронежского, Василия Рязанского, Святителя Трифона Святого и Богоносных отец наших Сергия чудотворца Радонежского и Серафима Саровского и всего сонма, как звезд, преподобных, святых, подвижавшихся в пустынных лесах и монастырях, (.....) в скитах Афонских, Палестинских, Сирийских и Египетских. (.....) Св.Апостолов и святого пророка и Предтечи Христова и друга Христова Иоанна.— Верю в заступничество крови всех мучеников, преподобных мучеников и великомучеников, вверивших себя великими мучениями Царю Христу, Св.Великомученицы Варвары— и Екатерины. Софии, отроковиц мучениц Веры, Надежды и Любви, Св.князей мучеников Бориса и Глеба и Романа Рязанского, святых князей Муромских Петра и Февронии, коих жребий земной особенно близок моему сердцу. Какое богатство путей у Господа. Очи Его на всех, боящихся Его, в каком бы положении, в каких бы путях кто из них не находился. Милостив и милостив Господь, долготерпелив и до конца (.....) жив Он и не хочет смерти грешников, но чтобы спастись им и быть живыми...

Но самая большая моя надежда и упования на Пречистое Тело и Пречистую Кровь Христа Спасителя нашего, на Святейшее Таинство Евхаристии, на это вечное излияние кровью Его любви к нам — Господи, Господи, милостив ко мне буди грешному, а я никогда не перестану радоваться, что я стал православным, что я познал истинную Твою Церковь, что я познал истинный путь Твой и за это славить свято Всесвятое и Трисвятое Имя Твое.

8-го декабря.

Вчера только успел кончить выше приведенные строки, как узнал, что Павел Михайлович скончался. Я сразу догадался, или почувствовал, что он не мог скончаться сам собой. Меньше недели тому назад я его видел совсем бодрым, несмотря на его 73 года и днем я узнал всю правду. Его убили мужики вечером, или в ночь на Св. Николая Угодника Божи́я — влоба, отчаяние, буря кругом все усиливается. Газет нет. Но слухи неспокойные...

13 декабря.

Вчера 12-го, ровно через неделю после убийства Павла Михайловича его похоронили. В бедной убогой деревенской церкви села Кобельша стоял его деревянный тесовый гроб, он лежал покрытый дешевым полостенцем. Благодаря морозу тело совершенно не тронулось. Все лицо избито. На лбу, с правой стороны, зияет огромный пролом. Вот конец!.. Его хоронили одни бабы. Родные — только бедная глухонемая Мария Ивановна и я. Из Алмазовки мужиков не было. Были только мужики из Кобельши. — Старики, Комитет волеотной платил за похороны. Мария Ивановна у мужиков на деревне. Кругом зависть и ненависть. Всякий норовит побольше стащить с ней. Дом стоит с разбитыми стеклами. Последние дни, часы и минуты Павла Михайловича ужасны. Мужики грабили и тащили все, что возможно кругом и в доме. У Павла Михайловича для охраны было 4 солдата. Но они ничего не сделали. По рассказу прислуги, впрочем, — они спрашивали Павла Михайловича — Что? Стрелять? — Но он ответил — "что же вы будете убивать православных, пусть лучше меня убьют". Вечером громилы принялись бомбардировать дом. Вдали было все темно. Солдаты с прислугой бежали. Павел Михайлович оделся в тулуп и сошел с верхнего этажа в прихожую. Марии Ивановну перекрестил три раза, поцеловал, крепко пожал ей руки и объяснил, что идет умирать. Он пошел в кухню, где помещались солдаты, думая должно быть укрыться среди них. Но солдат уже не было, и там было человек пять громил. Он успел (будто бы им сказать: "братцы, не убивайте меня, я завтра уеду"). Но они его убили ударом чего-то

тихого по голове... Убивал известный разбойник, судившийся ранее за убийства— солдат— терроризирующий всю деревню! В это время кругом дома была вся деревня. Мужики и бабы убитого виталили наружу— громили сани с него тулун, сапоги, виталили деньги и книжку сберегательной кассы. Мария Ивановна где-то сидела запрятавшись. Только в три часа ночи привели ее бабы на деревню, с трудом, говорят, и ее отбили от убийц. На деревне кто плакал, кто жалел Павла Михайловича и возмущался душегубством, а кто и радовался и кричал "собаке и собачья смерть". Бессмыслица, отупление, озверение, кошмарный ужас бесчувствия. Убит был Павел Михайлович в 12 часов ночи. Все ночь грабили дом, а утром часов в 11, убийцы, человек пять, приехали ко мне, спрашивать хомуты П.М., которые он летом прислал ко мне спрятать. Я лежал больной. Соня с Гришей были у обедни, я вышел к ним. Я ничего не знал про случившееся. Спросил их, что они оставили П.М.? Они сказали: дом, корову, лошадь. Но не сказали, что убили самого П.М. Народ всегда не любил П.М., потому что П.М., всю жизнь проведенный в деревне, хорошо знал народ и во всех хозяйственных деловых отношениях,— а только такие и были у него П.М. с народом— его, что называется, провести было нельзя. Он знал, можно сказать, всю низость народа. Высокого же сам не знал, потому что был нерелигиозен. Он, как это случилось со всем почти нашим образованным, культурным обществом— религиозные идеалы заменил себе какими-то смутными, туманными идеалами европейской культуры,— цивилизации и в лучшем случае гуманизма. Выраживание оранжерейных цветочков и редких растений в нашем климате, разбивка сада лающего культурный взгляд европейца, путешествия в Италию, Сардинию, Корсику, Тунис для наслаждения темной природой и рассуждения о бедности и некультурности русского народа— о его лени, зависящей от нашего климата, о его продажности, грубости— о неумении русских властей править по-европейски— об убожестве и низком уровне образования в духовенстве сравнительно с католическим, вот и весь его обиход жизни. Трогательным в его жизни была

1) Каторжник Чванкин— был освобожден и, прибыв с каторги, объявил себя председателем.

любовь его к своей глухонемой жене. Особенно последний год жизни эта любовь, нежная пахущая о ней доходила до настоящего высокого самоотвержения. Но как чужды и непонятны, (.....) должны были быть все стремления и идеалы (если только можно назвать идеалами смутные отрывки каких-то европейских идей, и особенных наблюдений над жизнью) от всего, чем жив наш народ, но П.М. старался иногда найти в людях служащих у себя и вообще в них пробудить любовь к природе— свою любовь к цветочкам и красоте, заинтересовать их этим. Из-под его руководства вышло несколько более или менее опытных садовников. В сельском хозяйстве он сначала увлекался новыми течениями, потом разочаровался в них (по недостатку, может быть, выдержки и еще более средств), и остановился на обыкновенной трехпольной системе. В обществе образованном он был всегда живой оригинальный, остроумный собеседник, таким был до самых последних дней своей жизни. В нем сердце было по природе мягкое, даже наверное не лишённое большой доли сентиментальности и романтизма— но живя среди— грубого (Алмазовка необыкновенно грубая, дакая деревня— грамотных почти нет) он волей неволей и с народом стал груб, трезв, а главное хитер— (его не перехитришь). Таковы отзывы о нем. И всю нежность своего сердца он перенес на свои цветы и на своих родных— с которыми приходилось ему чаще видеться в последнее время, в том числе и на меня.

В религиозном отношении он давно был свободомыслящий, не признавал обряда, аз-за какой-то обиды на священника, не бывал в церкви— отвык от нее вовсе. Попая презирал, да просто и не чувствовал в церкви потребности. Это, в прежние годы, когда народ у нас хотя и по наружности, но все-таки крепко держался за православную церковь, за весь обряд, это соблазняло народ и тоже прибавляло свою долю в недоброжелательстве народа к нему.

В последние годы я ни разу не чувствовал свободы откровенно заговорить о вере— с ним, но осторожно все же заговаривал с ним о своем личном отношении к православию. П.М. и не высказывался, но все же высказывал несколько

раз в том смысле, что верит в существование Бога. Что у народа нет Бога, что народ забыл Бога. Раз говорил очень одушевленно о Христе и Его учении, выше которого нет ничего и т.д. Наконец сетовал на слабое влияние духовенства на народ, об отсутствии дисциплины в самом духовенстве, а когда я ему недавно рассказывал об избрании патриарха в Москва и о трагической обстановке, в которой проходило это избрание, он плакал и говорил, что может быть начнется возрождение Церкви, а отсюда и новая эра в жизни русского народа. Дай Бог. Замечательно, что он Марию Ивановну перед смертью три раза перекрестил.

Судьбы Божии неисповедимы. Грешен человек. Он умер без причастия и пять дней его тело валялось в санцах, на полу, без христианского погребения. Страшные мучения принял он здесь на земле, чтобы неповиновение Церкви было видимо наказано, но грех его теперь не на нем, а на тех, кто убил его. А к Богу милосердному его душа возвращается очищенная страшными наказаниями и страданиями, понесенным на земле, хочется так верить и молиться. Так спасает Господь и не хотящих спастись. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу - во веки веков. Аминь.

Писано Леонидом Дмитриевичем днем 13 декабря, а вечером этого же дня он был и сам убит. См. ниже запись его сестры Вери Дмитриевны Семеново-Тяньшанской (В.Р.)

В этот день 13 декабря 1917 года брат Леонид поздно вечером с сестрой Соней возвращался к себе домой, подъезжая к дому, его ослепили какие-то светлые вспышки. В доме были чужие, они его встретили выстрелами. Леонид выскочил из саней, взял лошадь под узцы и хотел ее повернуть, в это время выстрелом из ружья ему был снесен череп... Соня выскочила из саней и без оглядки, через лес побежала на деревню за людьми. Когда по утру приехали из деревни, тело Леонида нашли в овраге со сложенными руками и закрытыми глазами...

Его домик был разорен, ограблен. Нашли кое-что из рукописей и этот дневник.

Вера Семенова-Тяньшанская.